

Миколаївський міський журнал поезії

Літера Н.

№ 5(29)-2009

litera-n.nikportal.net
litera-n.mk.ua

Літера Н.

Весь наклад нашого журналу розповсюджується безкоштовно. Але ми будемо вдячні прийняти од наших читачів посильні грошові внески на його підтримку.
У тому числі й на рахунок

Проворного Є.В. у ФАБ “Південний” у м. Миколаєві
Р/р 2620490101 МФО 326751 ОКПО 25992480 для зарахування на р/р № 26206080041895

На видання цього числа нашого журналу
ГОРОДЯНИ ПОЖЕРТВУВАЛИ 275 ГРИВЕНЬ

Дякуємо за постійну фінансову підтримку

Валентиніві Бойку, службовцю

Дякуємо за пожертви

Олені Мельниченко
Світлані Лариній
Юрію Іцковському
Павлові Мацюті
Тамарі Василівні Парамоновій
Анонімним дародавцям

Редакція

Зміст

<u>Артём Куцолабский</u>	
Высшая оценка	2
<u>Євген Проворний</u>	
Мульки Фу Лі Гана	6
<u>Михалко Скалиці</u>	
ПМ (закінчення Книги Сікорського)	11
<u>Євгеній Уманов (Умка)</u>	
Три панк-сказки	42
<u>Оля Сквирская</u>	
“Сочится день...”	47
<u>Артём Куцолабский</u>	
Religjoja	50
<u>Дина Ткаченко</u>	
Странный разговор	53
<u>Марина Ковальчук (м. Луцьк)</u>	
“...по душу в листі...”	56

Художня критика

Артём Куцолабский

Высшая оценка

«Город мой!» (Сборник произведений, посвященный 220-летию города Николаева). — Николаев: “Літопис”, 2009. — 272 с.

«Город мой!» — это сборник авторов литобъединения «Стапель». Удивительно, но в книге отсутствует вступительная статья. Для меня это было неожиданно настолько, что поначалу я принял за нее «произведение» открывающего книгу *Алексея Пилипчука*. Из его исторической справки читатель узнает, что «развалили, б..., страну!» То есть, написано это немного другими словами, но суть от того не меняется. Пилипчук с завистью посматривает в сторону стран черного континента — вот там, мол, жизненный уровень, не то, что здесь. Украина, — по его мнению — превратилась в одну из беднейших стран мира. Номенклатурный, я бы даже сказал классическо-номенклатурный, язык Пилипчука дает основания предполагать его причастность к одной широко известной в прошлом партии. В подтверждение моей догадки свидетельствует и вывод, сделанный в своей работе автором: «Став независимым государством... жизнь города коренным образом изменилась в худшую сторону». Аллилуйя! — воскликнем и мы вслед за Пилипчуком, ибо только слепой не разглядит за этими словами искренней любви к своей стране и к городу.

Однако наберись терпения, неведомый читатель! Несмотря на пессимистические нотки на первых порах, ты отыщешь еще немало «сказочного Николаева» впереди. И будут тебе платаны и акации, Южный Буг и Советская, ЧСЗ и ЮТЗ — в отнюдь не гомеопатических дозах. И если тебя это все не задолбает — что ж, этот сборник действительно для тебя.

Следует отметить, что при всей своей разносторонности произведений в сборнике преобладает одна топ-тема. Как ни печально это — политика. Печально, потому что по моим эстетическим канонам соединение поэзии и злободневности редко бывает удачным (а может вообще никогда). Это могло бы показаться смеш-

ным — правда, могло бы! — но когда я читал сборник, меня не покидало тошнотворное ощущение, что некий **Филимонов** всерьез полагает, что кабель и лопатки турбин на украинских АЭС воровал Кучма (с его-то президентской пенсией), а некий **Тарасовец** искренне уверовал, что воды близ Пскова с Омском кишат НАТОвскими «хищными» подлодками. И хуже того, последний призывает броситься на борьбу с ветряными мельницами... прошу прощения, подводными лодками. Стих под заголовком «Реквием», что уже смешно, учитывая его характер:

*Но и тогда, колебля небосвод,
Я буду звать на подвиг святой, правый:
— Руси моей униженной народ,
Стань вновь одной единою державой!*

Надо признать, герой Тарасовца личность мало приятная. В одном из стихов он готов растерзать несчастную бабушку только за то, что та, пользуясь своим конституционным правом, голосовала за «Юлечку». А в «Братьях-западенцах», начиная с медоточивых заверений в дружбе к жителям Западной Украины, автор держит фигу в кармане, заключая стих: «Так что лучше к нам, вуйки, не лезьте!» Но в полной мере представление о кровожадности мироборца-Тарасовца передает четверостишие:

*Моя память жует, как макуху,
Выражение деда-чапаевца:
— В жизни так уж бывает, Петруха,
Что дерьмо только кровью смывается!*

Второй топ-темой сборника, несомненно, является поздравительная. Больше всех к стихам по случаю юбилея приложил руку **Валентин Чебанов** (он же — руководитель ЛИТО «Стапель», он же — главный редактор настоящего сборника). Читаем у него: «А сколько цифр ты перемножил? Делил, талантливо слагал» — куда там Эйнштейну с его теорией относительности, конкуренцию с именинником выдержит разве что ученик начальных классов, да и то не всякий. Спасибо, что хоть в открытую не обозвал старым марзматиком.

Старается не отставать от своего коллеги **Игорь Мальцев**. Директора одного из заводов он наградил высшей, по его мнению, нравственной оценкой, которую может заслужить мужчина: «Нет ты не смотришь на вино и женщин...». «Закодировался», — грустно вздохнет юбиляр. Но это еще не самое нелепое: в одном из юбилейных поздравлений Мальцев сравнивает Чебанова ни много, ни мало с самим Господом Богом.

И, конечно, как можно в сборнике, посвященному 220-летию города корабелов, обойтись без городской (и заводской) романтики? Вопрос, вы понимаете, риторический. Итак, романтика.

Своим оригинальным видением города святого Николая делится автор-феминист *Геннадий Ангелов*, сравнивая его с женщиной:

*Где же твоя величавость,
И как девицы краса,
С тенью кокетки жеманность,
Ниже лопатки коса,
Легкий на щеках румянец
Мед на горячих устах?
Чем ты живешь? Этот глянец,
В очень интимных местах.*

Геннадию Ангелову, судя по его стихам, красота образа дороже законов логики и исторической правдивости. Ибо наш южный ветер у него предстает почему-то в образе Орлеанской девы, которая к тому же гордо и прямо застывает на плахе. Во-первых, не на плахе, во-вторых, чтобы застыть на ней „прямо и гордо” пришлось бы демонстрировать чудеса эквилибристики, в-третьих, ветер нематериален и никакая казнь ему не страшна и, в-четвертых, при чем здесь Жанна Д'Арк? По крайней мере, не отрицая нынешнего ужасного положения, автор все же верит в светлое будущее города и Николаев у него «как великий Конфуций ищет к спасенью пути».

«Ты — путеводитель в жизни мой» — восклицает *Валентина Карпунина*, видимо благодаря за что-то спутника жизни. Не знаю, не знаю, можно ли считать комплиментом подобное опредмечивание. Ты не человек, нет, — путеводитель! У этого же автора находим: «Пробила пуля грудь и ногу...» — представляете, как трассировала пуля, да? О Николаеве: «И горжусь потому что, проживаю здесь я!». Вот оно женское непостоянство — сегодня она гордится тобой, завтра — другим: «я» ведь независимо от места жительства всегда с собой.

Ряд произведений посвятил «легендарному Мише Кругу» *Александр Данцевич*. Из его стихов я впервые узнал, что где-то существуют «девчонки», непрекращающимся потоком шлющие письма на всевозможные форумы, не в силах пережить гибель любимого исполнителя и, как оказалось, «поэта».

В стихотворении *Александра Приходько* «Стебелёк», повествующем о романтической связи мужчины и женщины, сам автор и не подозревал о том, какой подтекст может приобрести его лирика при внимательном прочтении:

*Мое тело пропахло тобой.
Моя грудь к тебе льнёт как цветок,
Коротки эти ночи весною,
Мой дрожащий степной стебелёк.*

Заводская романтика обильно представлена строками вроде: «*Мы мать и дочь, отец и сын / Творцы мы газовых турбин.*» Также молодому читателю крайне полезно будет почитать стихи **Игоря Смердова**, в целях, так сказать, правильной идеологической и патриотической закалки:

*Расскажи молодёжи седой ветеран
То, как ты со своими друзьями,
То отстраивал цех, то монтировал кран,
Молодыми своими руками.*

Что значит back in USSR? Свежо, я сказал! Ничего вы не понимаете! А нет, так вот вам цикл детских стихов от **Юрия Соколова**. Там, правда, в одном месте неадекват, но что уж тут поделаешь — такова детская любознательность и животная природа братьев наших меньших.

*На щенка я указал: Что с моей собакою?
А щенок сквозь стон сказал: Не мешай, я какаю.*

В «городе моем» улицы пусты... Снова простите, это Агузарова, вспомнилось вдруг. Нет, не ищите, Жанны нет в сборнике. Есть **Елена Светлая** и **Нина Луценко** — авторы журнала «Літера Н.». Мыхалко Скалицки меня очень настоятельно просил, чтобы я как-то повлиял на них. Поэтому, уважаемые женщины Нина и Елена, пожалуйста, не пишите больше так, ладно?

Приходится признать, что единственный автор, произведения которого заставили меня переживать и сочувствовать — это **Леонид Собковский** — помещенный в конец сборника, на самые окраины «Города». Стихи на живом украинском языке в духе поэтов-модернистов, и не про Тараса «пронизующего поглядом століття», что очень выигрывает на фоне считанных и блеклых попыток писать на украинском остальных авторов.

*Ескортом
Думоньки...*

*Та вороння,
Як сніг*

*Клюють
З очей
Сльозу*

*І тихим
Дзвоном
Сміх.*

Євген Проворний

Мульки Фу Лі Гана

Почнемо з поета з прізвищем *Коцарев*. Перший вірш у книзі «Мій перший ніж» (Київ, Факт, 2009, 184 стор.) — нічого так. Аж навіть здалося, що я читаю якийсь переклад якогось бітника, ну, такого собі америкоса, що жив, бухав та писав у 60-х. Ні, це не підкол. Вірніше, підкол. Але такий, хороший, з любов'ю. Пояснюю:

*Як грає рояль?
Та трохи тремтить шибка вікна,
Зовсім трохи, якщо прислухатись,
А за склом мерехтять фігури.
Це третій поверх
Це середина року,
Тому і згори, й знизу
Ворушиться зелений кленовий хаос...*

Я прочитував початок вірша з назвою «Будні городян з надтонкою організацією». Назва — повна фігня й викрутаси. Але — прощаю. Молодий поет і випендрюж — синоніми. Але — образи. Але — деталі. Я чую, як грає рояль. Такий самий, який в дитинстві бачив у миколаївському Палаці культури суднобудівельників у році 83-му минулого століття. Чорний й великий. Ні, може, й не бачив, але це легко уявити, що — міг бачити. Завдяки віршу. Чи моїй паталогічній уяві. Ні. Все ж таки — віршу. Дякую поетові Коцареву. При зустрічі — гривню дам. Як нагадають.

Далі. Далі, заради того ж приколу заліземо у кінець книги: а що там? У-у-у, у кінці складно. Ну, подивіться:

А уяви, що сьогодні ти стала
Священицею
Жовто-зеленої церкви
Й обходиш уперше
Всі свої нові кімнати,
Балкон на хорах з розбитим органом,
Хвилю сидінь...

А названо — «Нова влада». Не те щоб — випендрьож... Ні. Але — ця вічна тяга до напівнатяків, напівтонів, якихось там паралелей... Ні, це не для мене. Я люблю провокації. Прості, грубі, які ображають. Плюють тобі в обличчя. А ці інтелігентські штучки, тіпа — ось я вам тут у віршику загадаю загадочку, а ви подумайте, уявіть, який я розумний й начитаний поет — мені не дуже цікаві. Ні, я розумію, так, як писав Маяковський чи Буковські — то століття минуло, і ми усі зараз у пошуку нових форм, але — я чекаю на прозріння. Покажіть мені мене. Яка я потвора, сука і блядь. І не треба гладити мене по голівці вашими віршиками, панове поети. Я хочу бійки! З вами, з вашими віршами — байдуже. Цей час занадто спокійний для мене. Розбудіть мене новітнім «кайдани порвіте!» Але — ні... Я чую лише:

*О п'ятій годині
Кажанчики тіней з'являються серед листя.*

*Виявляється, фортіссімо теж буває застиглим,
Замріяним. Жовті клавіші — оглушні краплі.*

*День
День День*

І мільярди порожніх столів.

*Земля — це квадрат,
Весна — це двокутник
І дві перехрещені паралельні прями:).*

Це — повний текст вірша з назвою «Мільярди порожніх столів». Ні, воно все зрозуміло: метафори «клавіші-краплі», штучки-дрючки, тіпа «Земля — це квадрат»... Все це, безперечно, цікаво, але я вкотре запитую себе: що таке поезія? Забавки й експерименти поета? Так. Пошук нових форм? Так. Готовність до зутрічі з натхненням? Так. Але — перш за все — це спілкування з читачем. У да-

ному випадку — спілкування нагадує розмову двох людей, яких щойно познайомили й залишили самих у кімнаті, і їм нічого не залишається, як говорити про те, яка сьогодні чудова погода, хоча їм обом ця розмова нецікава. Так от я хочу, щоб у розмові цих двох після знайомства пролунала, наприклад, фраза «пропоную не говорити про те, яка сьогодні чудова погода...» чи банальне «у мене тут є з собою трохи...». І знаєте, у поета Коцарева іноді трапляються такі собі цікаві фрази. Ось:

Коли жінка іде полем

І — раз — і зупиняється на півдорозі до великого куца

Та на третині дороги до кам'яного лісу,

Хочеться розбігтись і штовхнути її

З усіх сил у спину,

Хай іде! Хай швидко йде! Або падає на свою кам'яну батьківщину!..

Уривочок — але який. Справжній початок розмови.

...Друга книга у моєму огляді — книга поета *Лазуткіна*. З назвою — «Асфальт»?.. — пробачте, «Бензин» (Київ, Факт, 2008, 140 стор.). Так от про бензин. В смислі, про поезію. Знов початок книги. Знов перший вірш. Видавці — хитрі люди. Настільки хитрі, що в цьому випадку ми побачимо на початку — дуже цікавий текст. Ні, цей вже не нагадав мені бітників, скорше, цей нагадує ліниву європейську поезію 90-х у виконанні такого собі поетичного гуру, що той з'являється зрідка на телеекранах і обов'язково говорить розумні речі, намагаючись сподобатись симпатичній телеведучій. Цитата:

невідомо навіщо

трапляються такі ночі

коли губляться запальнички

і жінки наповнюються ніби амфори

бажанням і вологою

виноградним вином

солодким

трохи терпким...

Це з вірша «Іди за мною». Якщо ви графоман, не турбуйтеся, не хапайте ручку і зошита — ви так не зможете. Бо це... Ні, звісно, що й я так не зможу, тому що це... Справжню поезію пояснити можна, але — навіщо? Достатньо просто відчутти її, сказати подумки «клас!» чи там «хм!». Це — як побачити, що жінка, раптово, не вагаючись, влізає у чоловічу бійку, де, ще секунда, і її коханого хтось тихенько ткне ножичком у спину — на це дивись мовчки, але таке не забувається. Так і вірш. Тобі страш-

но, дивно, хочеться блювати, мастурбувати — але тебе не відпускає цей клятий текст...

Але це перший текст у книзі. Далі... А далі — усе як завжди:

*тримайсятримайся —
тримайся
дороговкази не вказують
пісні брешуть*

*я дихаю в тебе
мій подих зривається на крик*

*сотні слів
і всі надиктовані*

*сотні доріг
і всі розтоптані...*

Це — початок вірша без назви. Один мій знайомий сказав би: «Тю, і я так магу». Звичайно, так він не зможе, бо: відчуття тексту, натхнення, кільканадцять метафор у голові прозapas і таке інше...

*сьогодні важче
трішечки але важче
твої руки пам'ятають
моє пухнасте пальто*

*це зима
зимазима*

*лише на термометрі
моєму і твоєму — літо*

Це не Лазуткін. Це — Проворний. І мій уривок — кращий. (Так само поганий — прим. Михалка Скаліцького.) Я написав його, як кажуть, «не атхадя ат касси», по ходу написання статті, роблячи зумисний закос під уривок вище. Звичайно, то ще питання, як хто свій текст прочитає на публіці, в кого буде гарніша зачіска, хто вміє грати голосом-очима-стегнами, дивлячись, що за публіка в залі... Але я все одно — краще. Бо я чесніший: я відверто сказав, що написав це на ходу, і я не збираюся друкувати це у книзі з твердою обкладинкою, називаючи себе поетом... Не те щоб у книзі всі тексти — такі. Ні. Але вони є. Вони є разом з тим, який я цитував спочатку. Тож питання до упорядника

збірки. Чи питання до мене. До мого поетичного смаку. Але все ж таки — до упорядника.

І — щоб зовсім не склалося враження про погану його роботу — п'ять чудових, як на мене, рядків з вірша «Любов це...»:

*...я бачив як метелик скидає крила
і лягає спати на моєму підвіконні
ліворуч від попільнички*

*за кілька хвилин до світанку
що може бути важливішим?*

...магазин «Сяйво», сподіваюсь, підкине мені ще книжок для нового, сподіваюсь, більшого огляду. Або поети, вишукувавшись у чергу на Хрещатику, подаватимуть мені на рецензію свої нові нетленки. Чи хоч — по гривні на видання журналу. Якось буде.

Літера Н.

Клуб журналу

збирається **шосуботи** о 15.00 у холі кінотеатру Мультіплекс
(Сіті-центр на проспекті Леніна, 98)

Роман

Михалко Скалицькі

ПМ

Друга: Книга Сікорського

Закінчення

Початок у №№ 1-4 (25-28) — 2009

XXIV

— Я пішла на риночок скуплятися, — почув Бі, а потому почув і приголомшуюче голосний виляск англійського замка у дверях.

Неначе він ждав та не міг діждатися цього діла, коли за Галиною Дем'янівною клячне замок: розперізуючись на ходу метнувся до свого “запасного кабінетика” та просто впав на горщика. Бо попри дві чашки чорної кави без цукру, попри вельми вже підозрілу поведінку законної, дорогенької, серце йому боліло у міру, а от з животом, бозна від чого, творилося казнащо: так його, бідного, крутило, так його всього вивертало, так його тисло донизу геть, що, здавалося, усі нутрощі відставного професора, доктора наук однак, поки що, жадають одним махом вирватися назовні. Що, зрештою, і сталося, хоча — лише частково, а саме так, як того вимагала природа. Бі одразу відчув полегшення нібито та, не підводячись з горщика, задумався, або ще вірніше сказати, замислився.

А замислитися й задуматися Бі було од чого та над чим, бо — і то треба ж такому! — у той самий мент, у мить полегшення, в голову йому високою, міцною, важкою, потужною та владною хвилею вкотилося двоє рядків; ось вони:

Він не скучив за тим, що вмирав молодим,

Що так рано прощався з друзями...

По тому, наче б слідом за тоєю першою, вкотилася й друга хвиля, до тої подібна, хоч, може вже не така вона була висока, не така міцна, важка, сильна та не така владна: Бі згадав ще наступні два рядки — осьо:

Тільки жаль йому було, що могилу його

Занесе на чужині снігами.

Так що Бі спершу навіть був і не замислився, а просто силувався пригадати, відкіля тоте діло у йому взялося, та ще й узялося в такому непевному, низькому навіть, незугарному місці, куди змушені час від часу та від часу до часу навідуватися навіть поважні такі, культурно виховані такі й такі освічені люди, як, приміром

сказати, він сам — Борис Сикорський (ото вже тут був Бі задумався та замислився). “Але, щоб Скаліцькому... — думав-мислив Бі. — Ні. Не може того, чи там того бути. Не може бути, щоб Михалкові Скаліцькому, а чи Олександрові, а чи Ользі... Не можуть же вони, нібито, але наче б то, словом, як би звичайний тобі Борис Ілліч який-небудь, хоч і професор тобі, хоч і доктор тобі... Ні, ні, ні та ще раз — ні! Хай би там хто що мені каже. Хай навіть Галя... Галя... а... А... Хай йому!... Але ж звідки це в мені взялося? — от питань питання”. Та нараз Бі цілком ясно, геть тобі чисто яскраво пригадав:

Збройні хлопці йдуть вулицею. Ув одного — карабін, стирчить до неба дулом; у кількох — “шмайсери”, навпаки, дулами в землю дивляться; один, командир, ще й з наганом на ремені. Українська “партизанка” називається. Заходять до їхнього двору, а там — і до хати. По хаті мати метається од плити до вікна: “На піч!” — кричить. Батько вклоняється, запрошує бо столу, просить пригоститися, чим Бог послав. Хлопці всідаються. Випивають по чарці домашньої. Закушують квашеною капустою та печеною бульбою. Бронь на колінях у них. Червоніють потроху. Сидять. Ще по чарці. Ще закушують. Ще червоніють. Один, з карабіном котрий — Славко Янченюків, згадав Бі — заводить. Співають. (Він не скучив за тим, що вмирав молодим, що так рано прощався з друзями. Тільки жаль йому було, що могила його занесе на чужині снігами. Тільки того й зміг пригадати Бі. Та ще: “Прощайте, брати рідні й сестри...”) Хлопці ще випивають, підводяться з-за столу, перекидають ремені броні через плечі. Виходять. Командир, з порога вже, звертається до батька. Каже: “Знаєш, чого приходили?”. “А хто вас, хлопці, знає, — одказує батько. — Ви — люди воєнни. Може йдете де далека...” “Ти, Гільку, — каже командир, — не думай, що зможеш усю війну на печі пересидіти, у проси. Або так, або сяк: або до нас, або до советув. Про дитей подумай.” І вже й клямка за ним брязнула. Батько здригається. Мати плаче.

“От тобі, маєш “брати рідні й сестри”, — подумав Бі. Тут кінець сеї главки.

XXV

Ся главка починається з повернення Галини Дем’янівни, зо скреготу ключа у дверях та паніки Бі.

Бі, почувши, що скреготнув ключ, що клацнув, відмикаючись, замок, одразу добувся пам’яті, де він та що він. І йому зробилося зле. Він спробував, було, підвестися з нагрітого горщика, та ноги не слухались його, ще й серце калатало, наче б осьо мав стрічати не законну, вельми вже останнім часом покладисту, дружину, Галину Дем’янівну, а свавільну любочку свою Гальку, котрої навіть призвище дівоче взнав, лишень коли заяву до ЗАГСу подавали. То сів на тепле місце знов.

— Борисе? — сказала Галина Дем’янівна, законна, увійшовши та побачивши, що з туалетної комірчини вибивається світло. — Борисе, ти надовго?

— Надовго, — сказав Бі так, що Галина Дем'янівна заледве його почула.

— Давай, хутчіше, — сказала, — бо упісяюсь. Ну ж бо!

На такі її слова знов коротко щекнув шпінгалет, відчинилися двері та відкрилася ось яка картина: Бі сидів на горщику і йому було зле, вочевидь зле: лице йому на якусь мить раптом було побуряковіло, а по тому, так само раптово, просто на очах збентеженої, напруженої до кольок унизу живота Галини Дем'янівни стало братися жовтим, а там і синіми плямами, та за мент ажно позеленіло. Бі поволі сповз з горщика, вочевидь так само хутко втрачаючи притомність.

І тут постає одна, а то й кілька логічних та логічно-етичних проблем. Бо. Хоч Бі Сікрський лежить уже без пам'яті: частково у вбиральні, частково на коридорі, — й ніякі, себто жодні, проблеми його у цю хвилину вже не хвилюють, або хвилюють вельми мало, інше діло з Галиною Дем'янівною. Вона відчула потяг справити певну природну потребу ще коли була вешталася поміж трохи зцивілізованих, а то зімпровізованих рядів базарчику, що на розі проспекту Октябрського та вулиці Космонавтів, а що, як вірно підмітив Бі у своїй знаменитій та знаменній лекції, з громадськими вбиральнями у цьому місці діло було не краще (навіть гірше, так би сказати), аніж у цілому городі Нікалаєве, то мусила облишити тоте приємне діло неспішного вештання та спішно везти, а де нести своє добро додому. Звісно якби їй було плюнути на умовності, себто засилити де глибоко свій страх бути пійманою яким-небудь міліціантом, котрих там неспішно ж вешталася цілих троє, що вони сподівалися на пристойну подать, а чи бодай на добру подачку од котрої перекупки; якби їй не показувати своєї показної сором'язливості та одійти трохи углиб того скверу, чи парку, який починався одразу на узбіччі вулиці та проспекту та в якому, власне, розташувалися значною мірою базарні ряди, — одійти, присісти коло якого дерева або куща (кущів там, правда, малувато буде) та оправитись; якби усе це діло тоді тотам справити — жодна логічна, поготів жодна етична, чи, там, скажімо, естетична проблема не поставала б: Галина Дем'янівна негайно метнулася б допомагати неpritомному Бі, живій істоті, законному дружині та рідному батькові її рідної дитини. Не сталося так, проте, себто січовий міхур Галини Дем'янівни був повний настільки, що, здавалося, ось-ось поллеться через край. Тож мусила вона рішитися на щось одно та дійти одного рішення: або їй хутенько вскочити до вбиральні, впасти м'яким місцем на теплого горщика та, споглядаючи голу, в лайні, сідницю немічної людської істоти, батька її дитини, професора, доктора наук, полегшити тиск у сечовому міхурі, з якого вже кількоро крапель таки стекли, зволоживши тоту м'яку тканину інтимного предмета жіночого гардеробу, та у такий спосіб запомогти спершу собі, позбавитись болю у власному тілі, поготів, що Бі, законний дружина та батько її дитини, навряд, щоб відчував чого-будь у тому стані, в якому вона його застала; або просто переступити через неpritомного, котрому примантурилося стратити чуття у такому непевному місці, та метнутися до кухні та полегшитися над помийним відром; або ж притьмом кинутися допомагати чоловікові: повернути горілиць,

розв'язати краватку, розстебнути сорочку, хлопнути кварту води на лице, зробити штучне дихання та масаж серця, знайти ліки, знайти шприца, зробити ін'єкцію, викликати швидку допомогу та ще вимити сідницю цій оказії, доки “швидка” приїде, — а за себе просто забути, та нехай воно собі виривається з неї на волю, як само хоче, бо однак не сила тримати й триматися: нехай рецяє жовтавим, нехай просякає гострим смердючим запахом тонкі імпортні трусики за двадцять п'ять рублів та колготи імпортні й також недешеві, нехай тече собі вільно по стегнах, попід коліньми, по литках, по п'ятах, нехай затікає в чобітки, хоч вітчизняні та добротні, на натуральному — ове-чому — хутрі, що вони їй дісталися може не надто дорого, маючи на увазі суто гроші, та коштували цілої купи нервових клітин, які, так кажуть, не відновлюються, — до та після та під час розподілу взуття, що його вділила городська профспілка педагогічному колективу школи, — і в такий спосіб водночас дати полегшення собі. Отака, як бачиться, постала проблема у цій главці, навіть дві проблеми, а то й три. Але. Усі їх ми опускаємо та лишаємо обдумати та обмислити нашому герою, позаяк він — хоча й досі лежить непритомний та лежатиме, аж доки не приїде вже та “швидка” — тримаючи, свого часу, певне діло, іспити з курсу нашої етики, з курсу нашої естетики та з курсу нашої логіки, витримав їх на “відмінно”.

XXVI

“Швидка” й цього разу прибула вчасно. Тож не одразу, зрозуміле діло, але, трохи оклигавши од нападу, вивалюючись трохи заболілим тілом та душею у тій же лікарні, що й перше, — а була та лікарня Четверта хіба, туди Бі перевели з лікарні швидкої допомоги; там лікувалися лишень певні хворі, — Олександр наш також інколи туди втрапляв, а наша Ольга завела собі манір бувати там шопівроку: їй там добре відпочивалося, — у тій же палаті, що й перше, навіть на тому ж казенному койко-місці, діждавшись, доки біль душевний заважить знов над біль тілесний, Бі обдумав-таки та обмислив посталі були проблеми, а обдумавши, розважив, що Галина Дем'янівна усе ж учинила порядно, красиво та логічно, себто, що вона негайно кинулася врятовувати його особу з того лиха, з лихої біди, у яку він був утрапив, не міг пригадати, з якої такої оказії, затамувала біль власного тіла, притлумила нестерпне, а часом, може видатися, просто нестерпне природне бажання, гвалтом здолала власну природу, стерпіла усе це діло, бо вона — жінка сильна, вольова, умеє тримати себе в руках, коли треба, а коли — то й давати одкоша. Напевне він помилявся, але обдумавши так та так розваживши, та з'ясувавши, що серце йому болить, якщо не зовсім, то майже в міру, Бі забув за свої розмисли та розваги та думки його, а чи думи, полинули куди інде, а певне то повернули до єдино у сій історії важливої для його теми — нашої теми, Скаліцких, та її сув'язі з темою його власної сім'ї.

І треба визнати, що то вже були саме думи — рід естетичної діяльності (чи, може, справедливіше буде сказати “фізіологічного відправлення” — вітання геррові Ніцше) вищої нервової системи

людини, наразі Бі Сікорського: не роздуми, а обдуми, не аналіз, а спомин. Бі не сушив собі голови, як те було перше (при початку сеї повісті, чи то пак книги) силогізмами, тезами-антитезами-синтезами, припущеннями, послідами, роздумами, судженнями-доказами та висновками, нічого не висноував та не засноував. Бо він уже рішив. Бо просто пригадував. Бо знав. Розсудив Бі так собі: він доб'ється правди, він доб'ється правди за всяку ціну. А правда була те, що Скалицькі не злягаються з особами протилежної статі та не справляють низьких, так званих природніх, потреб, свідченням чому, хоча й не безпосереднім, Книга Образи й Зневаги, з якою він, Бі Сікорський був так-от нечемно повівся, то має дістати собі ще іншу, хіба тихцем, без розголошу, аби жодна душа не прознала, що він, Бі Сікорський — не остатній у Миколаєві, та й не лише у Миколаєві, чоловік — без тотої Книги досі обходився (Бі не відав достеменно, чи є вона у городських книгарнях, та навряд чи припускав, що таки є, з огляду на довжелезні черги у пору з'яви Книги друком, співмірні хіба — ба! навіть довші — од черг до горілчаних відділів). Але найпереконливішим доказом над, а чи позаприродної, ідеальної суті Скалицьких, зокрема нашого Олександра, Були його власні судження та висновки (себто те діло, яке ми обізвали думами), підтримку яким Бі знайшов не лишень у душі своїй, а й у широкій масі співгромадян-співгородян. Щоправда він не вельми добре розумів, та й не міг собі пояснити причини такого прихильного ставлення широких мас, чи, принаймні, культурної інтелігенції Миколаєва до його теорії, адже йшлося лишень за те... Як же він сам того досі не спостеріг, не осягнув? Адже усе так просто і ясно. Скалицькі тут геть ні до чого! Звичайно! Усе же до сердечного болю просто!.. Певне діло їм, Сікорським, зокрема йому самому, Сікорському Бі, з якоїсь-от причини чи притичини — з якої, діло третє, йому того не зрозуміти — випало впасти в око самому Михалкові. Певне діло, та, раз воно вже так вийшло, причина тота, хоч вона й понад розуміння не лишень скромного трудівника в царині історії (а скорше, то — історіографії), а й того ж, узяти, Киселя, Івана Хведоровича, хай би як він тужився, — причина тота є вельми і вельми поважна, і такою бути має. Інакше — для чого? Покрити його законну Галину Дем'янівну? чи рідну кровинку Анжелу? Мо' Олександрові Даниловичу треба те було? Бі пригадав, нараз, чого він витворив зі скульптурним портретом нашого Олександра, згадав, як шматував нашу Книгу ще й ходив по ній ногами, згадав, як знімав нашого фотопортрета зо стіни — і вельми за всім тим пожалкував, а пожалкувавши, дав собі слово та взяв його од себе, повернути, щозмога, певне діло, усе на свої місця. Скалицькі тут зовсім ні до чого. Себто до чого, навіть до всього, але ж не у тому сенсі! Бі, раптом, з подивом осягнув, що його обрано, що він покликаний. Та нехай би мета тої обраності чи тамтої покликаності лишалася для нього таємницею за сіма замками й сімома сургучовими печатками, він таки виконає те, що йому вготовано та усім доведе.

XXVII

Чого там Бі збирався доводити та кому, ми гідні прояснити хіба трохи, бо нині, у цій главці, йому вготована була ін'єкція глюкози, на підтримку його тілесних сил, бо крім сердечних кольок йому ще чогось там зробилося зі шлунком: домашню страву, що її вряди-годи, знаючи, що у Четвертій лікарні на стіл скаржаться рідко, приносила Галина Дем'янівна, Бі переносив більш або менш, але добре, а лікарнянську всю вибльовував, заледве скуштувавши. Власне кажучи він не надавав цьому фактові жодного значення: таке бувало разів пару й за минулих його відвідин цього милого закладу, не кажучи вже за те, що не зносив харчуватися у громадських місцях навіть у пору школярства, — та добрі чуйні лікарі присилювали його до усіляких, часом вельми навіть неприємних, тестів, а що з'ясували хіба деякі відхилення від норми (на кшталт в'яло прогресуючого гастриту, що у його віці, та ще при його роботі було більше, аніж природно), то порадили звернутися ще до лікарів київських чи, там, столичних, призначили глюкозу та й збайдужіли до цього діла. Та й не будемо ми розказувати за лікарів. Скажемо за медичних сестер. Скажемо за одну медичну сестру.

З точки зору хворого Бі Сікорського у всій лікарні малося дві сестри-жалібниці: Галя та Марічка, — та ще одна, та була “старша”. Сестри чергувалися: якщо Галя обслуговувала Бі до обід, то Марічка — по обід, і навпаки. У цій главці його обслуговувала Марічка. Власне хоч одній та другій було вже за сорок, хоч і прийнято-заведено було у Четвертій звертатися до персоналу на ім'я-по-батькові, Бі однак порушував, свідомо, певне неписане правило, називаючи Марічкою ту, котру решта пацієнтів кликали не інакше, як Марією Касперівною: а надто вже вона була приємна, відкрита лицем та душею до всього світу (щонайменше видавалося так хворому Бі Сікорському) та охоча до “поговорити”. От і у сій главці Марічка, Марія Касперівна, заледве увійшла до покою та привіталася до Бі, як зайняла руки роботою, а язик — балачкою, не вельми, варто сказати, переймаючись, слухає її хворий, чи ні. А Бі таки слухав. Він бо не вельми полюбляв усілякі такі маніпуляції, в результаті яких тобі у найболючіше, здається, місце заштрикують гостру голку, напружено ждав, аби минула та мить, коли голка проб'є шкіру та судину, викликаючи пробоем гострий тривожний сигнал у голові, та намагався сховати своє напруження за потоком чужих слів, забити його чужою мовою, раз не хватає власної уяви сховатися на цю мить у якусь заспокійливу фантазію.

Свій монолог Марічка почала, як звичай, зо слів підбадьорливих, заспокійливих, як от: “Заждалися обіду, Борисе Іллічу? Заждалися... Ну, нічого. Зараз ми Бориса Ілліча нагодуємо. Зараз ми підтягнемо до ліжечка Бориса Ілліча штативчика. Зараз ми поміняємо що порожню пляшечку на повненьку...” — і продовжувала у тому ж дусі. Бі уже й звик до такого обходження. Воно йому навіть імпонувало, себто подобалося, скажемо так. Проте аби не чути логічного завершення цієї дивної коліскової: “Зараз ми штрикнемо Борисові Іллічу його ніжну

веночку цією гострою голочкою”, — або чогось подібного (зрештою, він його ніколи й не чув), звично подав свою репліку.

— Як там, Марічко, на волі? — сказав.

Марічка, Марія Касперівна, тої репліки наче лишень і ждала, почала переказувати лікарнянські та міські новини, чутки, плітки та пересуди, а також те, чого навичитувала нині з газет. Так вона пройшлася по усіх масмедійських усюдах, повернулася у Миколаїв знов та, оповідаючи найсвіжішого анекдота про секретаря Киселя, Івана Хведоровича, як той не може добитися до нашого Олександера, так, що мусив ажно у Київ їздити, до Володимира Ярославовича, а Олександр, як кажуть одні, зробився заповзятим рибалкою, а як кажуть другі — вибрався, ще й з якоюсь молодію вертихвісткою, не то у Швейцарію, не то в Кампучію, на слові “дурить” застромила-таки, і то не вельми болісно навіть, здоровезну голку в тонку вену БІ. БІ на те діло полегшено зітхнув, ще й усміхнувся до Марічки вдячно, бо ж вона, хоч і не так просто те було, спромоглася знову віднайти потрібної величини судину десь у глибині його тіла, виманити її назовні та безпомилково засилити у неї неприємну залізячку.

— Дякую, Марічко, — сказав БІ.

— На здоров'я, — сказала Марічка, Марія Касперівна. — І приємного вам апетиту. — (“Смачного” по-нашому буде). — А знаєте? — сказала, вже виходячи у двері, — Ольга Скалицька знов у нас! У третій палаті. Ви знайомі з нею?

— Ні, — сказав БІ. — Не знайомий.

— Ну, — сказала Марічка, — я не думала... Я не знаю, але, знаючи про ваші теперішні стосунки зо Скалицькими, я подумала...

Вона й справді була приємною жінкою, ця Марічка, Марія Касперівна.

— Хоча, — сказала Марічка знов, — не знаю, чи вдасться вам, але ж спробувати можна? Хоча... Ой, ні, я вам нічого не казала. Добре?

— Добре, — сказав БІ. — Дякую вам ще раз, Марічко. Вважайте, що ви мені й правда нічого не казали.

Зрештою й справді його мало зацікавила новина, поготів, що глюкоза вже, крапля за краплею, вливалася у його плоть, зближався час ейфорії і ніщо та ніхто, навіть наша Ольга, не займали вже його голову; та, хоч як те може видатися дивно, у такому стані душі й тіла, з залізною голкою в жилі, БІ завше засинав. Тож наприкінці сеї главки заснув також.

XXVIII

Спав БІ міцно, а прокинувся нескоро. Прокинувшись почувався доволі бадьорим, майже здоровим та вільним, руку вже не муляла товстезна голка, а саме причадалля для вливання у тіло всіляких ліків стояло на штатному місці в кутку покою. Таке діло з ним було до сить часто, та щоразу, як йому випадало проспати також не вельми приємний момент, коли Марічка, а вдругораз то Галя, витягувала йому з руки дразливу залізячку, він радів, як дитина, котрій пощастило не прокинутися, коли мати міняла їй вночі пелюшки, а вранці вона

вже побачила їх на морозі за вікном. Так зрадив Бі й сього разу. Чом би й ні? Проте сього разу до радощів долучилася ще й якась-от думка. Думка була приємною, навіть радісною ж, однак вона трохи зазмариувала широсерду дитячу радість Бі уже самим фактом свого існування, хоча, як з'ясувалося згодом, несла в собі можливість радості куди, як більшої, можливість справжньої насолоди: здорової, дорослої, естетичної реакції, що вона наступає лишень у цілком певну мить (згодом вона, ця насолода, спадає, маліє, але ніколи не щезає зовсім, ніколи — мить одкровення, прозріння та розуміння. Думка зародилася в голові Бі у той самий мент, щойно він хіба побіжно, хіба упівовка, глянув на згадане причандалля в кутку, на штатне місце, на порожню пляшку з-під глюкози з її вродженою (себто заданою їй формою, у якій її одливали) шкалою сантиметрів кубічних, на мертві гумові судини, що вони ще недавно сполучали тоту пляшку з його живою плоттю. Тота думка спершу складалася з одного лишень слова та жодним чином, нібито, не стосувалася чого-будь стороннього, чого-будь з поза меж недавнього спілкування людського організму та тої простої, такої звичної оку пляшчини, вміст якої тепер уже повністю належав йому, живій душі, Бі Сікорському, так, що думка стосувалася хіба безпосереднього наслідку того спілкування. “Амброзія! — думав Бі. — Амброзія!” Таке було те єдине слово-думка. По тому вона розширилася йому до образу (хай буде “картини”) олімпійського застілля, описаного наприкінці першої пісні “Іліади”, до якого він лишень і спромігся був дочитати якось, бо гекзаметри Гнідича ставали йому поперек горла й мізків, а про Бориса Тена він і не чував, та бай-дуже, якби й чув, був би удавився вже однією піснею, тож за гекзаметра не хотів знати нічого, доки й цікавився художньою літературою, що, треба сказати, узяв собі за фаховий обов'язок, прописуючи інколи то до “Радянського Прибужжя” то до обкому нашої Партії, маючи з того діла сякий-такий приробіток; словом, як та думка була розширилася, так одразу й спала, образ вибляк, попласкішав та в голові знов майнула думка про глюкозу-амброзію, але тепер уже конкретніша, хоча й не без модального ухилу дієслова “могти”: “Може бути... — подумав Бі. — Може бути й Скаліцькі...” Потому модальність дієслівна змінилася прислівниковою: “Певне... — подумав Бі. — Певне Скаліцькі...” Проте обидві тоті синтаксично-модальні логічно-допустові думки, навіть не зовсім думки, а натяк на них, слід думок, негайно пощезли геть, будучі витіснені категоричністю одкровення, прозріння та розуміння: “Скаліцькі не їдять!!!” — тілом Бі прокотилася хвиля насолоди, подібної хіба до тої, що вона прокочується після викиду першого струменя сім'я з дітородного органа, блаженно розслабила плоть, так що, здавалося, пом'якшали не лишень пружні жили та м'язи, а й тверді кістки; але, якщо під вінець акту злягання за хвилею фізіологічної насолоди тілом пробігає вітрець розчарування, щоб знову нагнати хвилю, та ще, та, потім, ще, і так вони заступають один друга, що одна слабнучи, то другий зростаючи, та хвиля, зрештою вичерпує свої сили, залишаючи, натомість, суцільний натиск вітру розчарування, що він, у свою чергу, поволі слабшає, вироджується у втому та переходить у сон, у відпочинок; то інакше з хви-

лею насолоди інтелектуальної, естетичної: жоден вітер, нехай би він був штормовий, не годен її згасити, бо вона, порівнюючи це діло з великою водою, імя якій Океан, не є породженням механічних пестоців атмосфери, а постає на рівному місці єдиним суцільним могутнім водяним пагорбом, горою води, навіть, унаслідок глибинних рушень земної шкіри, океанічного дна, яке суть — Океан також; помалу опадає той стовп душевної “води”, наче силою земного тяжіння розмиваючись сторонніми враженнями та чуттями, пригинаючись під гнітом довколишності, але залишаючись назавше певним символом внутрішньої мови душі; тому символі не загрожує вже ніяка емоція, ніяка логіка, хай би йому й обростати згодом чимсь на кшталт вітру розчарування, виблякати, пласкішати, й каменіти в імплікації. І, зрозуміле діло, до імплікації дійшов. Його еврика обросла таки зусибіч посылками, припущеннями, прикладками та додатками, та, позаяк жодного подиху розчарування він не відчув, ми опустимо повну формулу його силогізму, у яку він увібгав результат натхнення, та почнемо наступну главку сеї повісті.

XXIX

Якось надвечір — доволі несміле ще та вже яре квітневе сонце немовби зависло посередині незаштороеного вікна покою (нечуваний промах котроїсь, — Галі, а чи Марічки, — який іншим разом обидвом коштував би хорошого насидженого місця), труїло очі нестерпною білизною стін, стелі, долівки, хромованого бильця ліжка та нещадно смалило голову, яку дурне волосся значною мірою, значнішою, аніж того хотілося б, устигло покинути уже давно — Бі підвівся з койкоместа: почував себе уже вельми навіть не зле, — і вийшов на коридор. Та лишень вийшовши рішив трохи розвіятися од своїх нелегких дум перед телевизором у холі, посидіти у хоча й казенному, та звичному для нього та зручному, як на таку okazію з серцем та іншими нутрощами, фотелі; до того ж він почув, що телевизор працює, подумав, що там, певне, хтось уже розвіюється, та, що компанія йому тепер зовсім не завадила б. Минаючи третю палату Бі здивувався, що її двері напіввідчинені (ще одна дивна недбалість Марічки або ж Галі), погляд його несамохіть увірвався до покою та утрутився в те діло, до якого не мав жодного стосунку, у яке погляди виховані втручатися собі не дозволяють, яке називається конфіденціальними стосунками поміж лікарем та його пацієнтом. Щоправда утрутившись, погляд Бі не зустрів там, у покої, чогось незвичайного, чогось дивного, чогось потаємного чи забороненого: на ліжкові, під самим вікном (заштореним-таки), лицем до дверей та до нього сиділа наша Ольга, вдягнена у брунатного казенного халата, перед нею стояв журнальний столик, на столику стояла півлітрова пляшка якогось напою без етикетки, до половини надпита й закоркована, стояли два товсті гранчасті стакани й тарілки, на яких лежали домашня ковбаса, ковбаса фабрична, варена, салат з огірків та помідорів, нарізане дебелими куснями сало та, звісно ж, хліб; збоку сидів на стільці нестарий ще чоловік у білому халаті, накинутому поверх цивільного костюма, що у ньому можна бу-

ло признати як лікаря, так і відвідувача. Ольга наша саме щось поволі переживувала. Зустрівши погляд БІ, вона кивнула йому, наче знайомому, а її гість на той кивок усім тілом рвучко повернувся до дверей. БІ засоромився й проминув третю палату, тягнучи за собою свій свавільний нескромний погляд. У тіснуватому, але затишному холі поміж п'ятою та сьомою палатами було повно білих халатів (БІ навіть не підозрював, що може бути так багацько в одній лікарні), поміж яких упали в око халати та піжами брунатні. БІ зрозумів причину стовпотворіння та недбалості Галі-Марічки, почувши голос Горбачова, а тоді й забачивши його знамениту пляму. Горбачов говорив до нашого народу, не знаючи ще, що наш народ його не зрозуміє та прийме ще за дисидента. БІ трохи послунав “музику й промови”, розхвилювався та повернувся до спокою свого покою. Довелося йому самотуж зашторити вікно важкими оксамитовими порт'єрами, білими та чистими, як і все у цій лікарні, яка славилася відданістю чистоті та своїм пацієнтам.

XXX

Покинув БІ лікарню — акурат був день Святого Духа. Галина Дем'янівна, Галя, законна, стріла його при виході, піймала таксомотора та допровадила до дому. Вдома БІ також чекав сюрприз: багато заставлений найдками стіл, що його вінчала пляшка улюбленого “Хересу” (хоч БІ й довелося було записатися до Товариства тверезості), яка невідь звідки вже і взялася, бо ж виноградники, як йому було добре відомо, по всій величезній країні рубали ще й доти, хоч по горбачовському Указові минуло вже майже два роки.

Вина БІ скуштував, посмакувавши його краплину на язичці, заїв це діло двома-трьома ікринками кав'яру, а більш не захотів нічого. Подякувавши підвівся та сховався у своєму кабінетові, де мав нагальну справу: повісити на місце нашого фотопортрета та посидіти подумати, навіщо то було викидати знакомите “погруддя” нашого Олександера, та: де б то його доп'ясти нашу Книгу Образи й Зневаги так, щоб не поповзла містом звивиста Чутка, — що й зробив. Галина Дем'янівна ще спитала була крізь двері, чи не бажає любий кави, але й кави БІ не хотів, то відмовився; натомість перевдягнувся (йому хотілося ще змити з тіла лікарнянський душок, що його сам відчував гостро, опинившись у “цивільній” обстановці, але ж з гарячою водою... та, чого розказувати?) та подався у розшук. Надумав іти в “Кобзар”, бо там, зрештою, як і в інших книгарнях, була знайома завідувача, котра мала одну з найбільших чеснот нашого часу, та ба, усіх часів: уміла мовчати та добре робити свою роботу. Галина Дем'янівна хоч і вийшла була з кухні, глянути, що то затіяв її законний дружина, не сказала ні слова, аж доки БІ сам перший сказав “пока” та “скоро буду”.

— Щасливо, — сказала на те Галина Дем'янівна та зачинила за ним двері на замок.

БІ констатував її дивну поведінку. Тільки й того.

Книги він так і не знайшов, хоч завідувача “Кобзаря” (а мо’ “Кобзарем”) обдзвонила усі книгарні та бібліоколектор навіть; однак по-

вернувся додому з іще гарнішою книжкою (у смислі поліграфії, а то й у кожному, себто у всіх) свого тезки, Бі Олійника, котрого любив як поета й поважав як людину, як громадянина, а згодом заповажав іще більше, познайомившись з тезковою прозою, але те було багато пізніше — за кілька літ; сього разу книжечка мала називатися “Семєро”, і була то поема. Отож повернувшись додому, — Галина Дем’янівна як провела його, так і стрінула, — така вже була “предупредительная”, що йому лишалося хіба смикатися куточками вуст, — сів у фортеля та став з насолодою читати, заражаючись силою натхненної правди тезкової поезії. Та дочитати третьої частини навіть йому не дав телефон: варто було його тепер уже й геть вимкнути з мережі, хай би Галя, Галина Дем’янівна, законна, забрала його у спальню, до себе. До себе! (Так раптово Бі зрозумів, що йому вже не спати з дружиною разом ніколи, що їй уже не гвалтувати його та не тіпати по старечих щоках, що його кабінет, де всі його труди, думи та дні та ночі — єдине, що він насправді має, та, що ніяка законна, чи бодай, незаконна дружина йому не потрібна зовсім, що він вільний, нарешті од неї, та, що віднині усе буде по-його.) Хай би вона надзвонила скільки завгодно своїм подружкам, приятелькам, приятелям, чи, там, полюбовникам, зрештою... Словом Бі саме читав про наших

дідів, од чіїх ратних подвигів у когось
 “досі від захвату — сльози в зіницях
 планети!

Які в них були Наливайки,
 Сірки,
 Богуни!

Який в них Скалицький родився...” — коли телефон заголосив та заволав ерихонською сурмою та, злякавшись, що стіни його кабінетика падають, що вуха йому лопнуть, що... зрештою, просто злякавшись, не знаючи чого, імпульсивно ухватив рурку та майже вигукнув: “Ало! Слухаю!”

— Добрий день, — виразно, навіть гучно долинуло з рурки; голос був чоловічий, молодий та міцний. — Борис Ілліч Сікорський?

— Так. Сікорський, Борис Ілліч. З ким маю честь? — сказав Бі, поволі заспокоюючись.

— Добрий день, Борисе Іллічу, — сказав чоловік знов. — Ви мене не знаєте. Але я впевнений, я знаю, що ви жорстоко помиляєтесь...

— Хто ви такий і чого ви од мене хочете? — урвав чоловіка Бі, заспокоєний уже, натомість злегка подивований. — І звідкіля ви знали номер мого домашнього телефону?

— З телефонного довідника, — сказав той чоловік також здивовано.

— Ах, так! — сказав Бі. — То, перепрошую, хто ви і чого від мене хочете? Ви не з “органів” часом?

— Не з “органів”, — сказав той чоловік. — Я... Бачите, я — син вашої дружини та Олександера. Ви розумієте, кого я маю на увазі?

— Розумію, — сказав Бі. — Але я не розумію... е-е... Скажіть же, як вас звати, нарешті? Чекайте-чекайте. Володимиром? Ні, не пам’ятаю

— Звідкіля б вам пам’ятати? — з голосу того чоловіка відчувалося, що він здивований, але й розчарований водночас.

— Дійсно, — сказав Бі. — Звідки.

— Юрієм мене звати, — сказав той чоловік. — Юрій Осипович Федорченко — такий маю запис у метриці.

— А до чого тут?... — та чоловік той, Федорченко, його урвав.

— Я маю деякі документальні освідчення, — сказав, — які могли б вас зацікавити, гадаю. Давайте зустрінемося завтра, скажімо, о шостій вечора, на розі Радянської та...

— Даруйте, — сказав на те все Бі, — але мене ця справа не цікавить. На все добре, — і поклав рурку на місце.

Чи цікавила Бі ця справа, він і сам не знав. Федорченко телефонував йому ще кілька разів, пропонуючи зустрітися, та Бі йому незмінно відмовляв. Той не давав йому спокою з місяць, заледве добившись, щоб Бі зголосився обдумати це діло до жовтня. Зрештою вони таки зустрілися й поговорили, у жовтні вже, але те не мало жодного сенсу, ані значення.

XXXI

Протягом травня місяця Бі зателефонували кількоро жінок. Двое голосів видалися йому зовсім молоденькими, а один він наче й упізнав був (чи не Ліза Куця то була?). Усі вони одно твердили, нібито кожна свого часу була коханкою Олександера Скаліцького, ще й запевняли, що Галину Дем'янівну, Галю, законну його дружину те діло не минуло також. Коли ж, послухавши котру одну, чи другу-третю, Бі просив назватися, та одна чи, там, друга-третя хіба мовчки уривала розмову, а то ще й обзивалася “старим казлом”. Бі зважав на те не вельми. Не міг, проте, обійти усі тоті закиди щодо Галини Дем'янівни та ще незрозумілі натяки на якийсь “ко-кос”, на якесь “ко-кос-ко”. Рішився поговорити з дружиною рішуче й начистоту.

Розмова тота відбулася двадцять сьомого травня, в суботу, по одинадцятій. Після пізнього сніданку, що його Бі радше відбув (щось у нього таки було, не то зі шлунком, не то зі смаком: тримався глюкозою з пляшок, — а те, що такий спосіб харчування понижував міру серцечного болю, усе значніше схияляло його до думки відмовитися од природного харчу цільком та остаточно), та хуленько сховався у кабінетові, Галина Дем'янівна, наче те було заведено у них одвіку, постукала у двері та запропонувала кави. Бі, замість відповіді “дякую”, відчинив та сказав “зайди, будь ласка”.

Галина Дем'янівна од такого запрошення трохи була наче остовпіла, проте хутко себе опанувала та зайшла.

— Сідай, будь ласка, — сказав Бі по тому. Сам лишився на ногах.

Галина Дем'янівна присіла на краєчок фотелю та не мовила й слова.

— Нам треба серйозно поговорити, — сказав Бі, а сам став крокувати мовчки повз дружину: чотири кроки туди, чотири — сюди.

Трохи посидівши та терпляче пождавши, Галина Дем'янівна сказала “слухаю”.

— Бачиш... — одважився тоді сказати Бі. — Скажи, ти знаєш, що таке ко-кос, ну, не кокос, у смислі “кокосовий горіх”, власне, й не

кокос навіть, а “ко-кос-ко” якесь? Не знаєш?

— Чом би мені й не знати? — сказала було Галина Дем'янівна та за мить уже себе правила. — Тобто я чула про такі закриті жіночі клуби: КОКОСК та КОКОСКО.

— Навіть так? — сказав Бі. — І що ж це за клуби такі?

— КОКОСК, — сказала Галина Дем'янівна, — це Клуб Колишніх Коханок Скаліцького, а КОКОСКО — Клуб Колишніх Коханок Скаліцького Олександера. Більше я нічого не знаю.

— Дуже цікаво, — сказав Бі. — Не знаєш, значить. Але ж звідкіля ти про них знаєш? Чула? І що значить “закриті клуби”? Підпільні, чи нелегальні, дисидентські чи ще які? Для кого закриті? Ким закриті, тобто хто їх позакривав?

— Ну, — сказала Галина Дем'янівна, — закриті, значить, що до цих клубів належать винятково жінки та, що стати членом клубу може тільки жінка, яка побувала коханкою у якого Скаліцького. От і все. Що ти ще хочеш знати?

— Ну, — сказав Бі, — я не знаю. Які, скажімо, у цих клубів організаційні принципи? Яку вони, також, проводять роботу? Які їхні статутні завдання? І ще: чому я досі нічого ні сном ні духом про ці клуби не знав? Відколи вони існують? Коли зорганізувались?

— Це тобі треба звернутися до членів клубу, — сказала Галина Дем'янівна.

— А ти? — сказав Бі. — До мене дійшли чутки...

— Брехня, — сказала Галина Дем'янівна. — Що було, те було. Я тобі вже пояснювала ситуацію, в загальних рисах, звичайно.

— До кого ж мені звернутися? — сказав Бі. — Мені тут, розумієш, дзвонять якісь жінки, називаються колишніми коханками Олександера Даниловича, натякають на якийсь таємний кокос, а жодна не називається. Як це розуміти? Де тих “кокосів” шукати?

— Я, — сказала Галина Дем'янівна, — можу тобі лишень натякнути, але, вважай, що я тобі нічого не говорила. Організації ті сильні та дуже впливові... за розголошення... словом, подзвони Лізі Куті. Тільки — я тобі нічого не говорила. Домовились?

Бі трохи помовчав, перетравлюючи це діло, по тому спитав:

— Для чого ж ти мені це все розповіла?

— Ти спитав! — сказала Галина Дем'янівна з серцем.

— І що значить “сильні та дуже впливові організації”? — сказав Бі, наче й не чув репліки Галини Дем'янівни

— Подзвони Лізі Куті, — сказала Галина Дем'янівна. — Це останнє, що я можу тобі сказати.

По цих словах Галина Дем'янівна підвелася з фотеля та вийшла з кабінету. Знов Бі лишився наодинці зі своєю невпевненістю, зо своїми непевною переконаністю та непереконаливою певністю, з певними результатами своїх прозрінь та зо своїми думами.

XXXII

Телефонувати до Лізи Куті, наперед старанно не підготувавшись, Бі не став. А вже як підготувався...

Ще коли восени минулого року Ліза була в Сікорських гостювала Бі запримитив, що хмеліє вона одразу, хоч і коротко, притому — од яко-го-небудь легкого вина, типу “Аліготе”; до того ж він мав свою “залізобетонну”, так сказати, теорію щодо жіночого хмелю, яку вініс ще з підлітково-юнацького-допризивного віку, та якою доти жодного разу не користався: сей раз рішив-таки скористатися.

Відоме діло, його виключили з нашої Партії, його позбавили кафедри та лектури. Зате його якогось дива не позбавили того інтересного предмета, а вірніше, того набору цілком конкретних предметів, що він чомусь обзивався словом, запозиченим з “блатного” тюремного лексикону, — суть “пАйки”, себто “пайка”, та не виключили з жорстко цензурованих списків. Таке буває. За законами Паркінсона виходить так, що це діло — збій у жорстко контрольованій системі — трапляється то частіше, що жорстокіший, що об’ємніший контроль, а філософія вбачає у цьому ділі уплив моменту неконтрольованості становлення самої системи контролю. Тож можна бути виключеним та позбавленим, але не позбавленим та не виключеним водночас: разів зо два щомісяця зайти до знайомої, хоч і мало кому званої, вельми інтересної крамнички, що вона була тоді у відомій будівлі на площі відомого “імені”, отримати свої, “положені”, запаковані до простої непрозорої поліетиленової торбинки шпроти-кури-ковбаси-та-інші-пайкові-продукти, а сього разу набитися у приятелі “на хвилику” давно та добре знайомому завідувачу цього діла Шморгайлові Йоні, щоб виклянчити-випросити-дістати — бо Сухий Указ Горбачов так-таки й не одмінив, про що до колок ув очах нагадує кількатисячна, певне, юрба, тісно збита, плече в плече, при зачинених ще дверях горілчаного відділу гастроному — дві пляшчини: одну доброго дволітного — етикетка в медалях — “Ркацителі”, а другу чудового зеленого “Шартрезу”, — гарно подякувати та прикупити до того всього дві пляшки “Пепсі”, поставити, удома вже, до холодильника, й ажно по тому зателефонувати до Лізи та по кількох словах вітання-питання-про-здоров’я-прогнозу-погоди домовитися про зустріч (ділову зустріч, певне діло: “є розмова”) у суботу третього червня о п’ятій пополудні (“хай спаде трохи спека”) на живописному березі Інгулу. Такою підготовкою Бі обставив майбутню розмову з Лізою. Ліза піддалася.

У четвер першого червня о шостій ранку, пробудившись од сну та прокинувшись зо сну, Бі не мав часу навіть, аби дослухатися свого немічного серця: відчуваючи неймовірно тяжкий гніт по зав’язку повного, певне, сечового міхура на “душу” (напередодні йому чогось-от трохи сушило в утробі та в горлі, мусив пити воду, то випив, мабуть, якусь зайвину, — та й уливання глюкози давали про себе знати), поспіхом підвівся з диванчика (мабуть то канапа була все ж) та попхався до вбиральні. Пробі! Крізь щілини з комірчини пробивалося світло! Тож не довго думаючи Бі прийняв кардинальне рішення: увібгався до комірчини ванної та спорожнився з такою, нечуваною доти, насолодою, що ажно крекнув наприкінці — спорожнився просто у раковину рукомийниці. По тому вже пустив з трубки холодну воду, вимив руки з милом, почистив зуби, поголився, сполоснув обличчя та, втираючись свіжим бавовняним рушником, відчув у собі якусь

дивну переміну. Переміна ховалася у тому, що він мав задоволення не лише судо фізіологічне, тілесне, але й духовне, себто справді душевне — задоволення від того факту, що дивним чином, припадком лиш, сподобився оминати смердючу клоаку туалетної комірчини, чи то пак вбиральні. На вербальному рівні — а мислив він у цей мент якийсь дивний, ще й дивно короткий текст, на якому зациквився його словесний “потік свідомості”, а буквально такий: “Добре було, як вас не було. Добре було, як вас не було. Добре було...” — тоті переміна та задоволення прорвалися новим знанням, суть — відкриттям, прозрінням та одкровенням: “Скаліцькі не вдихають міазмів!”.

“Скаліцькі не вдихають міазмів”, — подумав Бі цю думку знов, і знов, але вже опісля, як досушив руки та лице, як повернувся до кабінету, як понамашував щоки та підборіддя кремом після гоління “Альє паруса”; опісля — по тому вже, як стрімко здибилася та поволі осіла, хоча й не до решти, зрозуміле діло, хвиля екстатичної насолоди од вивільнення енергії творчості.

“Скаліцькі не вдихають міазмів” — подумав Бі знов у п’ятницю вже, другого червня, опинившись у тій же ситуації, хоч міг би полегшити гніт “на душу” у звичному місці, бо ніяка Галина Дем’янівна його не займала. Але і в суботу, і в неділю, і щодня на наступному тижні, у Місхорі на відпочинку та згодом, як повернувся до Миколаєва знов, Бі оминав убиральню, полегшуючись натомість просто у раковину рукомийниці, а по всій процедурі, обсушуючись рушником, повторював цю фразу, наче вранішню молитву. Не мав, щоправда, тої міри насолоди, що вона звалилася на нього уперше, мав зате щось інше, щось, куди як ґрунтовніше, щось, що може дати лише молитва, що хіба може дати молитва, що можна було б назвати станом долучення та споріднення, станом хоч не діалектичного, однак безпосереднього розуміння іншого, станом повернення до себе самого на рівні чуття, та лише на рівні слова — звільнення од себе. Цей стан, у якому Бі так чи так, тою чи тою мірою перебував відтоді повсякчас, геть-чисто витіснив з його серця, а скорше з голови, цілком конкретизовані словесно, але позбавлені сенсу в царині чуттєво інтелектуальній — суть інтелігентній, суть символічній, абстрактно-образній — уявлення про, поняття, категорії, образи Скаліцьких, що вони доти рухалися там, не маючи спокою, ані посідаючи жодного сталого місця або рівня.

XXXIII

Суботу третього червня Бі почав уже ледь не звичною “молитвою” й сьак-так добув до полудня. А по тому — була третя, бо заговорило радіо на кухні — дістав баночку кав’яру, дістав консерву з ікрою червоною, дістав дві плитки шоколаду “Оленка”, одрізав ще півбатона хліба та, склавши усе те діло та чого там потрібно було ще — посуд який, у торбинку з рекламою фабрики “Евіс”, загода подався на побачення, хоча й не мав цілковитої певності ані щодо Лізи Куті, ані щодо себе самого.

Ліза, проте, прийшла. Вона також прийшла завчасу. Вірніше навіть буде сказати, що вона прийшла нібито не-зумисне-на-побачення —

так їй хотілося вважати, так їй хотілося обманути — через що й вибралася була з дому ще майже вранці, ледь по десятій було, для того, нібито, щоб посмажитися під спекотним у що пору сонцем, полежати у затінку поміж трав та злегка побрехотатися в Інгулі, в інгулецькій воді; шоправда відтоді, як вона у ній брехала востаннє (чи не двадцять літ тому, бо давно вже віддавала перевагу чорноморській), тота зовсім згідотніла, тож од цієї частини “плану” довелося відмовитись. Словом, замість зумовленої п’ятої Бі Сікорський та Ліза Кутя припадком стрінулися на причалі старого яхт-клубу ще до четвертої.

Ту ж мить обоє відчули себе ніяково. Бі — через свої старечі синцювати босі ноги з неохайними жовтими нігтями, через мертвотну блідість плечей та рук, через сивину, що вона кушником вибилася у виріз білої майки з добрячою пітною плямою під ним, ще й такою ж на спині, через непристойно одвислу шкіру — наслідок доволі тривалого вже уживання глюкози, через що й спав з тіла більше, ніж на двадцять кілограмів. Ліза — через купальний костюм, через яскраво-червону засмагу на плечах, на грудях, на животі, на стегнах, на литках, через те, що Бі Сікорський міг подумати, нібито вона й очі продивилася, од самого ранку його виглядаючи. Та Бі сконфузився таки менше, поготів був готовий до всіляких казусів. То сказав Лізі комплімента з приводу засмаги та спитав, де вона тут отаборилася.

Вони сиділи побіля води у непевному затінку пари пірамідальних тополин, які росли тут то парами, то трійками, а переважно — самотиною; Бі готував свою донжуанську суміш, зливаючи напої у півторалітрову пластикову пляшку-колбу з-під нетутешнього цитринового напою, Ліза різала хліб тонюсінькими скибочками та накладала на них ікри, без нарочитої скромності розгортала й ламала шоколад. Коли стіл був готовий, Бі по вінця наповнив своїм коктейлем дві дорожні чарчини. Легенько цокнувшись, вони мовчки випили. Закусили. Випили ще. Мовчали.

Бі скорше вгадав, аніж помітив, що Ліза захмеліла. Знаючи, що хміль той — діло непевне, рішився користатися ним якомога влучніше, а більш такої нагоди може й не бути.

— Слухай, Лізо, — сказав, — маю до тебе вельми пильну справу — справу життя або смерті. Що ти знаєш про такі собі КОКОСК і КОКОСКО?

Ліза, бачивши усі тоті інгредієнти, з яких Бі витворив свого коктейля: таку собі солоденьку водичку в чудернацькій чужоземній посудині, — не складала собі звіту щодо необхідності хмелю од такого діла, тож уважала себе геть-чисто тверезою та чинною та лишень посміювалася.

— Ой, Борисе Іллічу, — сказала, — не дурить мене всілякими кокосами, бананами-ананасами. Знаю я, чого вам треба. Наберіться терпіння. Усе буде по-вашому.

— Ти мене наскрізь бачиш, — сказав Бі. — Ми ж з тобою на “ти”?

— Вип’ємо на “брудершафт” то й будемо, — сказала Ліза.

Бі налив і вони випили та поцілувалися, як завсігди годиться у такому ділі.

— Лізо, — сказав Бі по тому, — то розкажи мені про КОКОСК і КОКОСКО. Ти сама там була, чи бувала, чи є?

— Я — ні, — сказала Ліза. — А люди були, бували і є.

— Ну, і... — сказав Бі.

— Ну, і... — сказала Ліза. — Чого ви... ти... хочеш получитьи?

— Все, що ти знаєш, — сказав Бі та налив Лізі ще.

— Про КОКОСК не знаю, — сказала Ліза, суто механічно випивши суміш, — а КОКОСКО... Скажу тобі по секрету: я сама з КОКОСКО. Для Михалка я застара виявилась, йому молоденькі нравляться, я знаю одну, любити її Скаліцкі, кажуть, Олена Іщенко...

— Про неї в “Книзі Образи й Зневаги” не згадується, часом?

— Не знаю, про яку таку книжку ти кажеш, я усяких там книжок не читаю...

— Даруй, що перебив, — сказав Бі. — Так що там з КОКОСКО?

— КОКОСКО? — сказала Ліза. — То Клуб Колишніх Коханок Скаліцкого. По секрету: я там є.

— Як це? — сказав Бі. — Що за клуб такий? І, як це — ти там є?

— Ну, — сказала Ліза, — було діло.

— У якому смислі? — сказав Бі. — Хочеш сказати, що ти була коханкою Олександера Даниловича?

— На жаль, — сказала Ліза, — тепер уже — була.

— Добре, — сказав Бі. — Припустимо, я тобі повірив. А хто іще входить до вашого клубу?

Та Лізин хміль раптово геть минув. Чи може ще чого вона наполахалась? — але останнє питання Бі, хоч він їх мав ще безліч, лишилося без відповіді. Ліза зненацька рвучко стала на рівні, підхопила свої плаття та взуття та намірилася без слова піти геть. Тож Бі мимоволі довелось зробити ще одне діло уперше в житті. Він, як був лежав на правому боці, підперши голову рукою, так лівою хвацько лапнув Лізу за ногу повище кісточки. Ліза од несподіванки ажно скрикнула, притому досить голосно, доволі, аби на них з Бі звернули увагу. Молоді люди довкруг були тоді зареготали, а котрі з них були трохи сором'язливі — захихикали в кулаки. Бі однак Лізу не упустив, а що вона, з усього судячи, не вельми й хотіла вириватися, то попустив, по тому поволі підняв руку вище, провів долонею уздовж литки та по-під коліном, грайливо торкнувся пальцями стегна, а тоді, так само поволі, провів рукою згори донизу. Якщо доти Ліза вже й так була з лиця буряковою (молоді люди довкруг, хоча й не поряд, знов бухнули реготом), то тепер почервоніла геть аж по плечах, по руках та ногах, геть аж до самих нігтів (не могла того приховати й засмага), ткнулася обличчям поміж гарячих пітних долонь та й сіла на землю так само рвучко, як і встала. Дихання їй сперло у грудях. Бі остаточно випустив її ногу з руки та налив добрячу порцію свого “фірмового” напою.

— Візьми, — сказав, — випий.

Ліза й не подумала відмовитись. Лишень проковтнула те діло, часто задихала. Червона фарба поволі відступала з її обличчя. Врешті почало вирівнюватися й дихання.

— Дякую тобі, Борисе, — сказала, щойно заспокоївшись.

БІ здивувався. Він і сам за такої несподіваної ситуації був трохи зарум'янивися на щоках та на шії, а од Лізи чекав уже чого завгодно, лишень не слів подяки.

— Да-а, — сказала Ліза, не зважаючи на його одвислу щелепу. — Давно у мене такого не було. Колись, ще студенткою отак червоніла, коли случайно стрічалася з одним хлопцем. І вже була готова. Та закрий ти рота! — розсміялася, кинувши погляд на БІ. — Наливай ще лучше.

БІ слухняно стулив щелепи та налив Лізі й собі.

— То чого ти там у мене хотів випитати? — сказала Ліза, як випили. — Преси, що хоч. Тобі усе дам.

— Я питаю про КОКОСКО, — негайно обізвався БІ. — І — хто туди входить.

— Хочеш знати, чи була твоя Галя полюбовницею Олександра Даниловича? — сказала Ліза.

— Скажімо так, — сказав БІ.

— Була, була, була, — сказала Ліза. — А хочеш знати, то твоя Галя у нас Перший секретар. Як тобі?

— Свежо предание, но верится... — сказав БІ. — А... а молоді дівчатка там є?

— Скільки хоч, — сказала Ліза. — А-а! Ти про свою Анжелочку? Ти напевно неправильно поняв, — сказала Ліза. — КОКОСКО — клуб колишніх коханок, а твоя Анжела...

— Гм! — сказав БІ.

— Як я чула, — сказала Ліза, — то багато хто каже про Олександра Даниловича і його нову полюбовницю. Чи молоденька — не знаю.

— Ладно, — сказав БІ, трохи помовчавши та обдумавши це діло і з цього боку, — будемо вважати, що відсутність інформації — інформація також. Чим же, дозволь спитати, ваш КОКОСКО займається?

— Усяким, — сказала Ліза. — Я, правда, давнувато була на собраннях, але узавтре буду, як штик.

— Завтра у вас збори? — сказав БІ.

— Завтра у всіх збори, — сказала Ліза. — Узавтра четверте, ти що — забув? Скаліського уродини.

— Ладно, — сказав БІ. — Я справді на хвильку забув. Зрештою, мене це вже стосується мало. Хіба що ЖЕК збиратиме. Але слухай, чому я досі нічого не чув ні про які КОКОСИ з КОКОСками?

— Я откуда знаю? — сказала Ліза. — Може ти не хотів чути, то й не чув. Буває, знаєш.

— Добре, — сказав БІ. — Дякую тобі, що розкрила мені очі. Хоча, правду кажучи, віри мало. Де ви, кажеш, завтра збираєтесь?

— Як то? — сказала Ліза. — Ти не знаєш? А каплиця Скаліських між виставочним залом союзу художників і дворцем культури Шістдесят першого заводу? Знаєш?

— Знаю, знаю, — сказав БІ. — О котрій?

— В одинадцять вечора, — сказала Ліза. — Хочеш подглядіти? Гляди, бо чоловікам там не місце: можеш і без свого багатства остатися. А було б вельми жалко. То як — всьо, на сьогодні? — спитала насамкінець, не без умислу, те певне.

БІ зрозумів її по-своєму.

— Все, — сказав. — Можеш бути вільною. А хочеш, можемо допити...

— Канечно хочу, — сказала Ліза. — Хочу допити це діло і хочу, щоб ти мене провів додому. Серьожа, син, у баби в селі, так що я сама на хазяйстві і вообщее...

БІ вдав, що не зрозумів її. Коли ж вони допили його “фірмовий” напій, зібралися та, захекавшись, дісталися троллейбусної лінії, Ліза повторила свій маневр.

— Може якогось іншого разу, — сказав БІ.

Він посадив Лізу на троллейбус, а сам пішов додому пішки, бо, хоч сонце усе ще палило нещадно, серце підказувало, що йому у троллейбусній задусі не проїхатися навіть од зупинки до зупинки.

XXXIV

Серце ж, хай би як БІ хотілося бодай краєм ока глянути на жіноче збіговисько, щоб напевне знати “так” чи “ні” щонайменше про Галину Дем’янівну, Шалю, законну, усе ще, не витримавши суміші алкоголю, пепсі та спеки, сказало йому “зась” та поклато, хоч не на казенну койку, на диван усе ж у власному його кабінетові одразу по прогулянці. Так він там і пролежав до вечора п’ятого червня, завалений пігулками та мікстурами, вимкнувши телефона, виходячи, та й то поволеньки, лишень до ванної комірчини, аби вряди-годи справити невелику нужду. Галина Дем’янівна, законна, котра ще в суботу була завалила його усіляким аптечним начинням, у неділю, четвертого, навідалася ажно двічі, о дев’ятій вечора ж вийшла з дому, а повернулася уже в понеділок на світанні, та він мимоволі зафіксував час її повернення: була п’ята, за три хвилини.

Увечері того ж понеділка, а власне кажучи, надвечір, бо сонце ще стояло ген, як високо та тїнь од злощасного письмового причиндалля ще не скочила зі столу на підлогу, БІ відчував себе багато краще, а майже при повному здоров’ї (особливо втішало те, що не довелося вкотре, а то й востаннє лягати в лікарню, і ця втіха сама добре його здоровила), вийшов зо свого кабінету, викликав Галину Дем’янівну, законну, до кухні та мав з нею коротку бесіду.

— Слухай, — сказав, — я тебе ніколи не питав, де ти буваєш ночами і що ти там де робиш. Ти завжди ходила де хотіла і робила що хотіла. Не питаю тебе й цього разу...

— Не питаєш? — сказала Галина Дем’янівна. — Виходить, знаєш. От не думала ніколи, що в тебе хватить кебети... І хто ж би то тебе просвітив? Я так думаю, що тебе таки хтось просвітив. Хто вона?

— Чому ти думаєш, — сказав БІ, — що це обов’язково жінка? І чому мене обов’язково просвіщати?

— Ну да, — сказала Галина Дем’янівна. — Так я і знала...

— Чекай, чекай, — сказав БІ. — Я ще раз повторюю: мене не обходить де ти була і що ти там робила, хоч, я думаю, ти була у каплиці Скалицьких...

— Ха-ха-ха, — сказала Галина Дем’янівна. — І ще два “ха-ха”.

— Що значать твої “ха-ха”? — сказав БІ.

— А те, — сказала Галина Дем'янівна, — що нічого ти не знаєш. Наскільки я тебе знаю, а я тебе знаю дуже добре, ти вирішив перекопати мене у тому, що позбувся нібито свого дрімучого ідеалізму. Даремна робота. Я тебе знаю.

— Ні в чому тебе переконувати не збирався і не збираюся, — сказав Бі. — Кажу тобі так, як воно є, а ти мене весь час перебиваєш.

— Добре, — сказала Галина Дем'янівна. — Кажі. Я вся — сама увага.

Бі трохи помовчав, немовби його зацікавило щось інше, щось там, за вікном, інколи усе ж підозріливо зиркаючи на Галину Дем'янівну, досі ще законну дружину свою, а заговоривши, сказав так:

— Я усе знаю, — сказав. — І не переч мені, і не перебивай мене: я знаю все. Але ти мені одне скажи: чи те правда, що говорять про Олександера Даниловича і нашу... нашу дочку? Кажі мені чесно, як на духу: правда?

Галині Дем'янівні од такого питання на якусь довгу-предовгу мить заціпило, а коли одціпило, вона сказала так:

— Ти зовсім тронувся на старості літ. Звичайно я хотіла було довести тобі, що Олександр такий само чоловік, як і будь-хто інший, хіба що багато дужчий за інших, але ніколи не думала... З чого ти це взяв, скажи мені, заради всього святого?

— Усі про це говорять, — сказав Бі.

— Усі говорять, кажеш? — сказала Галина Дем'янівна. — То я мушу тобі сказати... Скалізькі да-а-вно вже не ті, щоб їм зваблювати молоденьких дівчаток: прищемили їм хвостика, одна інерція лишилася. Хто-хто, а я це добре знаю...

— Ти мені скажи прямо: “так” чи “ні”? — сказав Бі.

— Ні, — сказала Галина Дем'янівна. — Наскільки я знаю — ні. Ні, я упевнена. Навіть більше, ніж упевнена. Хоча, з другого боку, хіба можна сьогодні бути в чомусь упевненою?

— Так чи ні? — повторив Бі своє питання.

— Відповідаю, — сказала Галина Дем'янівна. — Ні, ні, і ще раз ні.

Бі одвернувся од законної та пішов до свого кабінету, де й перетравлював цю бесіду та всі попередні події аж до наступної суботи, тож нічого, вартого нашої уваги, за цей час не сталося.

XXXV

Сталося це у суботу десятого червня.

Того дня Бі прокинувся вельми рано. Відбувши свою ритуальну вранішню процедуру повернувся до кабінету, аби ще полежати годинку-другу, але не лежалося. Пробирав сідти до столу, чого-будь почитати (хотів Книгу Образи й Зневаги, та лишень зубами скреготнув, пригадавши, як власноруч з нею обійшовся) — не сиділося й не читалося. Вискочив на кухню, поставив чайника на плиту — пити слабенької кави. Доки чайникові закипіти стояв над ним, нависнувши, наче круг над стервом, готовий шомиті зірватися та полетіти кудись, чи побігти. І побіг-таки, чи майже побіг, до кабінету, заледве хлюпнувши скількись там окропу у велику чашку. Каву (власне, ледь підфарбовану ка-

вою водичку без цукру) він також ледве надпив, бо сьорбнувши раз-другий, почав шукати перевдягнутися. Щоправда його костюм на шодень та свіжа сорочка висіли на “плечиках” ще од середи, — Галина Дем’янівна не знехтувала своїми обов’язками (а чи правами) господині, — але цей костюм його чимось не влаштував. Тож вдягнувши лишень сорочку та ще пов’язавши краватку, Бі доволі жваво, як на немолодого вже, хворого серцем чоловіка, рипнувся туди й сюди по кабінетові, тоді став, застиг на мить, та пішов до колись подружньої спальні, де стояла шафа, у якій мав (чи мали вони з дружиною) стільки костюмів, скільки йому треба було, принаймні ще одного — з відзнакою Лауреата республіканської Премії та “ромбом” про вищу освіту. Розбудивши Галину Дем’янівну, усе ще законну дружину, сказав їй того костюма знайти та дати йому. Галина Дем’янівна не могла нічого второпати спершу, але встала та знайшла йому того костюма, і Бі шез з її кімнати.

Нарешті вдягнувшись Бі вийшов з дому. Ноги понесли його на Октябрський проспект. Завернувши праворуч за якихось години дві можна було дістатися центру, а ліворуч — усього за десять-п’ятнадцять хвилин — уже згадуваного парку та базарчика, де Галина Дем’янівна вряди-годи купувала чого до столу. Ноги Бі завернули ліворуч. Невдовзі він уже був на базарчику, де попри ранню годину, попри наряд озброєних тоді ще самими кулаками міліціантів, попри цілковиту, на перший погляд, відсутність клієнтури кількоро молодичь жваво спродували пиво, горілку та соняшникове насіння. Потупцявши трохи перед червоним знаком світлофора на зелений перетнув вулицю Космонавтів, оминув базарчика, запримітивши при тому, що міліціанти та дві-три молодичі були вже й добряче напідпитку, та доволі хутко пройшовся туди й сюди усіма, чи майже усіма, парковими доріжками та стежинами. З якого боку не візьми, парк той наскрізь проглядався, — такого дійшов висновку й Бі. Для чого йому той висновок був потрібен — не видав сам.

Повернувшись на базарчик Бі застав там уже самих перекупок, до яких долучилося ще кількоро, а біля кожної витворилася хай невеличка, але черга. Тоті черги склалися всуціль з чоловіків, переважно віку невизначеного, так, років од сорока до шестидесяти. Усе то був робітній люд, що йому того ранку гвалт потреба була прохмелитися та забити запах спиртного, щоб потрапити на свої робочі місця та добряче відпрацювати години до дванадцятої, а то й до другої. Доки Бі собі гуляв робітній люд валом повалив через парк, начеб не субота то була, а понеділок. Це діло його добряче здивувало. Звісно він знав, що ті чи тамті заводи чи фабрики викликають скількись люду працювати у вихідні, але ніколи й не здогадувався, що “скількись” — це так багачко. Здивування було трохи збило його з пантелику, та за хвилю він оговтався, зігхнув, рушив з місця, де од того діла був застиг, та, оминувши базарчика, без якоїсь певної мети закрокував вулицею Космонавтів у бік площі Перемоги, а діставшись туди, крокував собі усе далі та далі, аж доки дістався трамвайного депа. Там, на зупинці шостого трамваю, він присів трохи перепочити, бо таки втомився, та сидів доти, доки од депа Московське Радіо повідомило його, що вже

восьма година. Зачувши про час, який збігає, байдуже, сидиш ти собі тихо-мирно, бездумно, поволі покльовуючи носом од того, що час часу тебе заколихує лагідне вранішнє сонце, чи ти в дорозі, ідеш кудись, до чогось такого, чого й сам не знаєш, що обзивається метою, якогось дива, — тож зачувши про час Бі стрепенувся, підвівся з лави на тремтячих ногах та, не звертаючи уваги на трамвай, що той задзеленчав просто йому у вухо, поплівся далі. А мета його була — Дубки.

До Дубків йому треба було пройти усю Промзону. За три години, за чотири перепочинки, Бі таки пройшов її. Була десята, за чверть. Сонце піднялося вже й геть високо. Зробилося жарко. А в лісочку, яким Дубки по суті є, парко та душно. Проте Бі, заклопотаний змаганням з дорогою, не згорився бодай попустити вузол краватки. Отак ув офіційному строї, при регаліях та туго затягнутій на шії краватці він знайшов у тотому лісочку першого-ліпшого куща, — намагаючись, правда, триматися подалі од численних стежок та стежин, усипаних свідченнями людської присутності, переважно у вигляді металевих корків з-під пива, горілки та різних безалкогольних напоїв, — розперзався, спустив штани та присів до куща тим місцем, яке ми обзиваємо спиною.

Та нічого при тій оказії не трапилося. Хіба що упав був на, як ми сказали, спину, з тої причини, що од довгого тяжкого сидіння навпочіпки та очікування чогось-от, у його, як те було часто, затекли ноги. Тож полежавши трохи, не вельми пристойно демонструючи рослинному (та тваринному, бо довкола, наче бобами всипано, повзали равлики, а одного-двох він причавив, падаючи) світові своє старече грішне тіло, чи як тепер кажуть — свої геніталії. Трохи оклигавши підвівся, так-сяк заправився, озирнувся довкола: ніде нічого підозрюлого, крім равликів, кущів, дерев та ще, хіба, горобців, що вони часом гвалтом пролітали гуртом понад самою травою; нічого й нікого іншого довкруг не було, скільки й око бачило, — та рушив у зворотньому напрямі, себто до шостого трамваю.

Удома вже був одразу по дванадцятій: сам із себе здивований та приголошнений.

XXXVI

Сталося це у суботу десятого червня...

Як він добився рідного кабінету в рідній квартирі, Бі не пригадував. Пам'ятав узагалі мало чого з його вранішньої пригоди. Власне хіба те, що якогось дива ходив пішки на край світу — в Дубки. До того ж мусив зняти з “парадного” піджака кілька голок сухої глици, суху травинку, павутиння та кількоро піщинок, що ті причепилися, коли був там чогось упав на спину: було таке, пам'ятав. Решта подій видавалися йому сном. Врешті-решт у царство сну одійшов сам факт його вранішньої прогулянки щойно він випив сорок крапель валер'янки, запив їх двома ковтками “Снігурівської”, приліг на канапу (чи, все ж, диван то був?) перепочити трохи та, відпочиваючи, поволі задрімав.

Од тої легкої дрімоти, помережаної якимись чудернацькими снівами, Бі пробудився за кілька хвиль до третьої. Знов почувався незле

бадьорим, енергійним та наче злегка хмільним. Самотуж уколівши собі порцію глюकोзи, убрався у той стрій з регаліями та, не відповідавши на якесь — недоречне, певне діло — питання Шалини Дем'янівни, законної, вибрався з хати.

Цього разу ноги понесли його праворуч — до центру міста. І слушної години Бі опинився у слушному місці.

На розі вулиці Громадянської та проспекту відомого імені, що той колись називався вулицею Херсонською, біля заводу “Дормашина”, а власне, вже на самій його території: поміж інструментальним та малим механічним цехами, приліпилися до заводу невеличкий гастроном та горілчана крамничка. Крамничка тота була така собі, але для здорового життя заводчан мала значення неабияке. Бі опинився там близько п'ятої.

Ця година та це місце були знамениті того часу тим, що повз цю горілчану крамничку о п'ятій пройти було неможливо ні фізично ні, так би мовити, морально. Причини тому були дві. Моральна та, що кожного дня, крім неділі, крамничка о п'ятій відчинялася, та звітдам давали “по дві пляшки в одні руки”; притому що за рік такої роботи ця система не дала тут жодного збою, чим не могли похвастати ані “сотка” (себто магазин № 100, що на розі того ж “імені” проспекту та вулиці Совецької), ані центральна горілчана крамниця на Потьомкінській-Плеханівській. А фізична причина та, що вже од четвертої, а то од третьої-другої, тисячний натовп перекривав у цьому місці шлях пішоходам, а часто й автотранспортів по сей бік проспекту. Саме по сьому пекельному боці потихеньку, але досить добре тримаючись на ногах, крокував Бі. Забачивши попереду людське місиво він ще притишив ходу, а до перехрестя з вулицею Громадянською — хоча з людського місива погляд уже виривав окремі постаті та обличчя — не дійшов. Бо не зміг.

Цього суботнього дня юрба запрудила не лишень один бік проїздної частини проспекту, — чим, звісне діло, зупинила усякий рух з цього боку, — а й усеньке перехрестя, ще й прихватила шмат проїзду протилежного. Певне десятого червня (а так виходило, судячи з такої картини) у горілчаних магазинів славного міста корабелів справи були геть кепські. Та ото Бі туди прийшов, та стояв там, не знаючи що учинити: повернути назад, чи перейти на протилежний бік, коли, раптом, щось трапилося.

Згодом про ту подію зо два тижні трубили засоби масової інформації не лишень кийвські, а й московські, ув'язуючи це діло з іменем професора Бі Сікорського — новоявленого войовничого дисидента, котрий намагається використати низькі нахили плєбсу, щоб влізти у велику політику. По тому ще з тиждень бубніла місцева масмедія, але ім'я Бі при тому не згадувалося. Трапилося ж ось що:

Доки Бі стояв там, не доходячи до перехрестя вулиці Громадянської та проспекту, у своїй перманентній нерішучості, од вулиці Садової туди підїхали три або чотири міліцейські авта, відкїля вискочили чоловік з двадцять міліціантів та, розмахуючи кулаками та мегафонами, спробували витіснити людей з проїзду. Юрба спершу, хоч явно без великої охоти, була подалася, та в цю хвилину ледь-ледь прочинилися

двері крамниці, до яких було притиснуто двох міліціантів, що ті там відбували свою службу, у шпарині показалася голова котроїсь, певне продавщиці, що та щось гукнувши до міліціантів та до найближчих спраглих хутенько сховалася. Двері крамниці зачинилися. “Горілки не буде!” — прокотилося понад юрбою і вся ситуація умить змінилася. Котрі ближчі до джерела сеї вельми неприємної звістки несамохіть були подалися ще ближче, так, що у тамтешніх міліціантів та ще двох-трьох ближніх затрішали ребра, а по тому, усвідомивши, чи “усвідомивши”, усю неолоадність та надаремність такої потуги, рипнулися геть од цього нещасного місця, де, як обіцяло назвисько його, за свої крєвні можна було сподіватися на пляшчину-другу “монопольки”, та й ці сподіванки розбилися об знайоме та звичне “нема і не буде”, — але вільно покинути його не змогли: на них наступали тоті дальші, що вони одступали од міліціантів тамтих, прибулих. Здавалося б у такій ситуації центр юрби мусив податися та розповзтися туди й сюди по обочині проспекту, — так, принаймні, підказують нам гідравліка та вчення про опір матеріалів, — та, все ж, юрба — море людське — не є предметом гідравліки, ані сопромату, воно має дечого, відмінного од рідини чи, там, затиснутого у лещата “дослідного зразка”. Лещата, у яких опинилася середина юрби, подіяла на усю її вельми дивним чином. На якусь ледве вловиму мить юрба непорушно застигла, навіть притихла, притому притихла до такої міри, що з жодних уст не зірвалося ні слова, ні півслова, ні вигуку, ні стогону, а по цій миті раптово, наче за чиєюсь нечутною командою: “Одімри!” — зашуміла, загвалтувала та, гвалтом кинувшись у бік тамтих, прибулих, міліціантів, підім’яла їх, узяла під ноги кулаки та мегафони, одне міліцейське авто розвернула, а двоє других перекинула колесами догори, перейшла потойбіч проспекту та, метаючи поперед себе каміння, паліччя, порожні пляшки та бляшанки та ще усіякий мотлох, що його завжди доволі на миколаївських вулицях та проспектах, нищівно пройшлася повз виставкову залу спілки художників, повз дворик поряд нього, де стояло величезне масивне погруддя нашого Олександера з заліза та бетону, повз палац культури та техніки суднобудівного заводу ім. Шістдесят Одного комунара та розсіялася на вулицях Садовій, Потьомкінській-Плеханівській, лишивши позаду біте шкло зали, безголове погруддя невідомого вождя та голі ребра палацу культури та техніки, вимурувані, як з’ясувалося, з червоної цегли. (З тої усїєї розрухи вийшла з честю хіба спілка художників за місяць-другий по тому відновивши лице зали, що ж до таких організацій, як КОКОСКО або завод ім. 61-го Комунара, то у них ніхто й пальцем об палець не вдарив. Так відтоді й стояли ці дві пам’ятки горбачовського Указу, не то добуваючи віку, не то очікуючи на реставраторів-благодійників, доки благодіники таки знайшлися, та й погруддя Олександрове кудись поділи.) Отакої там було.

Зачепило це діло й Бі. Правда з вельми несподіваного боку. Коли юрба вже була майже розсіялася та лишень найзаповзятіші зривали остатні лицьовальні кахлі з палацу культури та техніки, відкілясь набралася безліч міліціантів у формі та в цивільному. До Бі, так, як він усе ще стояв там, на розі, роззявивши рота, хутко підійшли троє у

формі, не спитавши прізвища скрутили йому руки за спину та затягнули до найближчого авта. Мусив нескінченні три години відбути в гамірному околотку, з чого мав хіба тої користі, що дізнався про вісімнадцятеро поранених при оказії міліціантів та чотирьох цивільних людей, а один з поранених міліціантів начебто й зовсім був при смерті. Ще його там домагався розговорити якийсь нелінійний кореспондент якоїсь туалетної газетини, але Бі його ігнорував. Зрештою треба сказати, що Бі був вельми подивований усією історією, самовидцею ще й нібито учасником якої йому випало стати, тож хоч серце йому боліло в міру, навіть краще того, почувався трохи начеб не в собі та на зовнішні подразники реагував мляво.

За три, чи за скільки вже там, години його допитав якийсь рудий, у ластовинні, старший лейтенант та, попиваючи чаю, засудив сплатити скількись штрафу (за “створення труднощів в передвіженні общественного транспорта”) та й одпустив з Богом, та Бі сьак-так добувся домівки.

Сонце хіба було присіло над обрієм, коли Бі з задоволенням, навіть з насолодою розлігся на дивані-канапі у рідному своєму кабінетові та за хвилю вже спав, як у маківці, і нічого йому не снилося.

XXXVII

Сталося це у суботу десятого червня, певніше — вже у неділю одинадцятого, бо пробудився Бі щойно минула північ. Одразу почув себе бадьорим, свіжим, так, як би років тридцять, а то усі сорок тому, як би не спав майже непробудним сном, а з півгодини стояв під потоком льодяної води з крана. Почував себе так, як би не знеможене серце болісно тріпалося у грудях, а завівся у животі якийсь моторний бентежний живчик, що той силував його негайно підхопитися з улюбленої канапи чи, там, дивана та заходитися знов надягати на себе обцяцькованого костюма та все, що належить.

Так воно і вийшло. Бі, піддавшись невідомій силі, підхопився, вдягнувся, а що тота сила спонукала його ще й тікати з дому знов, то взув у коридорі черевики та ледь не прожогом вискочив на темну площадку, а там — на вулицю, добре таки освітлену за допомогою електрики. На вулицю винесли його ноги.

Добрі, хоч і старі уже ноги понесли його впоперек вулиці та досить хутко донесли до будівлі, схожій скорше на універсальний магазин, аніж на кінотеатр “Юность”, що за нею розкинувся парк, названий іменем чийогось комсомолу. У парк завели його ноги. Голова його не мала жодної пристойної гадки, з приводу куди йде та для чого, відсторонено пригадувалося то те то се, то стосовне усіх його пригод, починаючи од виходу у світ нашої Книги Образи й Зневаги, то не стосовне. Стежкою, устеленою бетонними блоками, старі добрі ноги довели його до танцювального майданчика, темного вже о цю пору, та повели далі, углиб, та були б довели до самого лиману та в якийсь мент звернули зі стежки, обійшли кількоро сосен, яких у тому парку перевага, та спинилися поряд з кушуватим, навіть вельми розлогим кушем ялівцю. І саме тут Бі осягнув та зрозумів мету своєї нічної прогулян-

ки. Йому раптом аж кольки у живіт заштрикали, так йому закортіло присісти під той розлогий ялівець та справити тоту природну нужду, що її ще обзивають “тяжкою”, що нею він нехтував уже чи не з місяць. Роздумувати було ніколи, довелося хуленько знімати штани та сідати під кушем. І сталося. По чому Бі відчув себе не на жарт полегшеним та, раптом, якимось як би вихолощеним. Його моторний бен-тежний живчик у животі якось ніби застиг, а то — зів’яв. Проте доки тому живчикові застигнути чи зів’янути, сталося ще. Сталося, що всі чуття Бі як би зійшлися зненацька ув один пункт, на мить засліпили йому очі бузково-жовтим вогнистим вибухом, а з дітородного органа його просто на сиру землю, просто на зелену траву пролилася дешиця сім’я. По тому по всьому — полегшення, та втома, та сонливість, та ще якась переміна у всьому тілі та в душі. Урвавши спершу жменю трави, а тоді вже — чистого аркушика з записника, він так-сяк підтерся, поволі підвівся (старі добрі ноги не підвели його на сей раз, а таки підвели), заправився та тихо-тихо поплентався додому. Відчував себе кимсь, ким досі не був. Відчував себе кимсь зовсім іншим. Відчував, що життя його відтепер має докорінно перемінитися, що сталося щось нечуване, та не знав, як до цього всього діла поставитися.

Він довго мучився, намагаючись оцінити якось те, що з ним трапилося, сталося, відбулося, не зважаючись дійти якогось конкретного висновку, не відкидаючи, але й не приймаючи пригоди з десятого на одинадцяте червня, але коли за місяць, може, тоте діло повторилося, мусив його прийняти так само, як мусив прийняти самого себе такого. Нового зовсім та як би багато од себе молодшого.

XXXVIII

По тих тілесних та душевних перемінах Бі Сікорський лишався приватною особою ще до осені, та й то хіба через те, що літо — таке діло, коли замість ударятися в політику, ліпше валятися на жовтому піску де у Ялті чи, там, у Місхорі чи де там ще. Щоправда і влітку його добивалися — хто телефоном, а хто й просто додому приходив — якісь люди, але він їх не слухав та не приймав.

Потрібний чоловік подзвонив — спершу телефоном, а по тому й у двері — тридцятого вересня. Чоловік той назвався Проценком, Петром Сидоровичем. З’ясувалося, що Бі був чував колись про якогось Проценка — редактора багатотиражки Чорноморського суднобудівного заводу, котрий не відомо як уже й проліз у редактори, бо з’ясували ж, що вже мав одну судимість за націоналізм, котрого невдовзі знов одправили туди, відкіля він був явився, — то погодився зустрітися хіба з цікавості. З другого боку, не могло бути такого, щоб такий чоловік та прийшов до нього з порожніми руками. Чогось мусив принести.

Щодо таємного свого сподівання, то Бі не помилився, як, зрештою, й щодо того, що чоловік виявився й справді цікавим. Був він невисоким, навіть низеньким, наполовину чорнявим, наполовину сивим. Глибокі западини очей, порізане численними зморшками чоло, землистий його колір, свідчили відомо про що. Перше, чого Бі спитав,

по тому, як вони привіталися, потиснули одне одному руки, гість зняв капелюха та черевики та пройшов до кабінету, було:

— Ви — той самий Проценко?

— Той самий, — сказав гість. — Саме той, — і скупю, як би про себе, усміхнувся.

Така відповідь і така усмішка, що її Бі усе ж встиг запримітити, якось ніби одразу зблизили його з цим чоловіком, хоч, з другого боку, трохи наче й злякали, даючи можливість залишатися, так би мовити, “собі на умі”. Вочевидь не вельми певен себе був і Проценко, але він напевне прийшов з цілком певною метою, тому, в разі хотів чого домогтися, мусив дозволити хазяїнові кабінету бодай зазирнути у свої карти.

— Слухаю вас, — сказав Бі.

Вони сиділи та пили каву, яку Бі приготував увласноруч. Власне пив лише Проценко, а Бі хіба для годиться часом торкався рукою своєї чашки.

— Бачите, — сказав Проценко, — я хочу запропонувати вам одну справу, так би сказати, джентльменську угоду, але спершу от що. Так, як ви дещо знаєте про мене та про мої погляди та переконання, а однак не виставили мене за двері, то я здогадуюсь, що й вам подібні погляди принаймні не чужі.

Тут Бі спробував був запротестувати, але Проценко спинив його владним порухом руки.

— Я нічого не стверджую в даному разі, — сказав. — Зрештою для тої справи, яку збираюсь вам запропонувати, потрібна людина саме з вашими поглядами та з вашою репутацією.

— Що це має означати? — сказав Бі. — І що це кажете? — “справа”, як ви кажете?

— Бачите, — сказав Проценко, — дисиденти тепер, так би сказати, у моді. Ваше ім'я, після всього того, що з вами сталося, досі не вивітрилося з голів. А це, скажу я вам, шанс — політичний шанс.

— Я слухаю, — сказав Бі.

— Це шанс утрутитися у велику політичну гру, — сказав Проценко. — Це шанс виставити свою кандидатуру на майбутні вибори як незалежного, себто безпартійного депутата, себто кандидата в депутати. Це в наш час імponує людям.

— І саме з цією “справою” ви до мене прийшли? — сказав Бі. — А чом би вам самим...

— Бачите, — перебив його Проценко, — тут є свої причини.

— Я слухаю, — сказав Бі.

— Гаразд, — сказав Проценко. — Можливо я роблю величезну помилку, але я прийшов до вас, а не навпаки. Бачите, моє ім'я, мабуть, усе ще пам'ятають, але — хіба там, де треба, як то кажуть. Це — одне. Друге те, що ідеї нашого національного визволення, які я сповідаю, не вельми популярні тут, на Півдні, не кажучи вже за те, що досі суворо караються. Я глибоко переконаний, що мине хіба трохи часу і Україна стане самостійною державою...

— Ха! — сказав на те Бі, не будучи при силі стримати подиву (та й добру дешицю переляку, варто визнати) од такого нахабства.

— Ви, звичайно, смійтеся, — сказав Проценко, — але я у цьому переконаний більше, аніж у чому-будь ще. Я у це вірю. Розумієте? Ви ще гадаєте нашу розмову і мої слова, і я гадаю, вельми скоро. Але нині ще не пора. Тому я до вас і звертаюся.

— Я-а... — почав був Бі.

— Я не наполягаю, — знов перебив його Проценко, — щоб ви відповіли негайно. Подумайте якийсь час, зважте усі “за” та “проти”... І... зголошуйтесь.

— Добре, — сказав на те Бі. — Я подумаю. Хоча, звісно, я напевне пристану на вашу пропозицію. Я може думав про це, і не раз. В усякому разі — дякую. Я подумаю, — та підвівся, даючи зрозуміти співбесідникові, що пора. Щоправда він ще затримав його, не до місця спитавши, чи те правда, позаяк, з усього судячи, пан Проценко — чоловік, доволі обізнаний з ситуацією, що Олександр Скаліцький емігрував до Швейцарії, та ще, кажуть, з якоюсь зовсім ще юною коханкою.

— Наскільки мені відомо, — сказав на те Проценко, — правда. Та я гадаю цей факт можна вельми вдало використати під час виборчої кампанії. Подумайте і над цим.

Бі обіцяв подумати і над цим.

Так поговоривши господар та його гість мовчки уже вийшли на коридор, де Проценко, Петро Сидорович він був, узувши черевики та надягнувши капелюха з Бі розпрощався.

XXXIX

Чи ж те правда, що Бі думав, або може думав уступити до більшої або меншої політичної гри? та ще й за підтримки того діла, обізнаного “українським буржуазним націоналізмом”.

У будь-якому разі наголосити варто прислівника “може”. Бо ж як би там не було він уважав себе кабінетним ученим — майже “книжником” та “затворником”, котрий змушений виходити на люди заради заробітку хліба насущного та ще через “ним не заведені” правила дрібної політичної гри в “активістів”, де він, правда, ухитрився — чи умудрився — посісти місце скорше бека, аніж хавбека, чи, там, форварда. У силу ідеалістичних поглядів, у тому числі й на власну особу, з поміж перспектив партійного організатора усе вищого гатунку та “скромного” професорства — попри драматичний, ледь не трагічний спротив тоді ще молодшої, тоді ще нахрапістішої, тоді ще прагматичнішої Галі, Галини Дем’янівни, законної, дороженької — вибрав таки друге, про що згодом ні разу й не пожалкував, покірно, а скорше то відчужено-відсторонено зносячи незрідкі кпини законної, дороженької. Однак років -надцять тому (щойно був тоді посів омріяну професуру) йому так-таки й не вдалося уникнути чисто номінального, як зясувалося невдовзі, депутатства у буцімто народній раді області, ще й тягнув цю, хоч не вельми обтяжливу, але вимогливу лямку цілих вісім літ. Та за увесь цей, доволі тривалий, час він лишень раз спробував чогось зробити, чогось зробити такого, відповідного власному образу народного обранця.

Діло було ще за Брежнєва. Прийшов якось до його — та не в обрладу, а просто на кафедрі — колишній однокашник Максим Шарий, що його Бі не бачив відколи той вилетів з одеської Альма-Матер, що він, певне, й досі навчає п'ятикласників історії стародавнього світу у якому селі під Кушкою чи, там, Новозасибірськом. Прийшов, словом, просити, щоб Бі замовив, де треба, а чи написав яку “бомагу” — вирятувати з біди сина — студента-першокурсника історичного ж факультету, але Альма-Матер Київської, котрого наші компетентні органи звинувачували у тому, що він, разом зі ще чотирма приятелями, також студентами КДУ, начитавшись книжок Яворницького, Петлюри та ще якихось Донцова з Грушевським, планували державний переворот у душі українського буржуазного націоналізму та, хоч, певне, не посідав у “підривній організації” чільного місця, однак під час акції, а певніше то фантазії на тему, яку наші компетентні органи обізвали “розподілом портфелів”, отримав нібито портфеля міністра народної освіти.

— Які портфелі?! — гарячкував тоді Шарий. — Вони ж усі — діти ще! Моєму шойно сімнадцять виповнилося! Поможи, якщо можеш. Ти ж депутат, чи як?

Ото Бі був єдиний раз усім серцем повірив, що є народним обранцем, пожалів свого однокашника та рипнувся за своїм депутатським запитом хоч не до наших київських компетентних органів з приводу сина-бевдзя, то бодай до ОБЛВНО з приводу спішного позбавлення безвинного батька членства нашої Партії та й роботи водночас. Звісно складаючи такого запита він трохи таки кривив душею, позаяк добре знав (та й не він один, бо ж не дарма з усього курсу лише Максим та ще двоє-троє дівич з університетською освітою мусили податися у прості шкільні вчителі, хоч дівчата — вочевидь з іншої причини) — добре знав його супротимосковський та українсько-самостійницький, у ту пору, правда, не вельми ще явно виражений, ухил мислення: українська історія, українські пісні, гопак, вареники та уся така беліберда в голові. Де ти тепер, Шарий Максиме? Тож отак, покривляючи трохи душею, він не вельми й сподівався на цілковитий успіх у цьому ділі. Чесно кажучи його б улаштувало, якби Максимові дозволено було без помарок у “трудовій біографії” перейти в іншу школу, чи — хай уже! — переїхати хоч у найближчий райцентр, а чи в Херсон... Успіх (власне, “успіх”) перевершив усі його сподівання. Здається вже того ж дня, коли він був подав свого запита, йому увечері зателефонував — додому! — товариш Дракон І.І. та сказав буквально таке:

— Ніхто не заперечує, що ти — великий вчений, доктор наук і все таке інше, але свою “фількіну грамоту” забери назад. Можеш її порвати, спалити, з'їсти, залити сургучем і закопати в землю для прийдешніх поколінь, можеш зробити за своєю писаниною усе, що заманеться твоїй буйній уяві. Але якщо ти усе ще хочеш тихо-мирно собі жити в сім'ї і в суспільстві і продовжувати користуватися усіма благами цивілізації, то негайно, прямо зараз одриваєш свою жопу од телевізора, береш таксі і їдеш в облвиконком. Там тебе чекає сам голова і два його заступники. Чув?

— Чув, — сказав тоді Бі, спромігшися хіба спитати. — Прямо зараз їхати?

Товарищ Дракон І.І. не принизився, щоб повторювати, але Бі й без того вистачило глузду не ослухатися сказаного раз. І на тому його кар'єра у великій політиці урвалася, хоч він і тягнув свою лямку, як уже сказано, ще три роки, а там — ще чотири.

То що ж ховалося за отими “думав” чи “може думав”?

Скорше за все — не ховалося нічого. Просто красне слівце, спроба не “вдарити лицем у грязь”. Проте як воно, часто, не часто, а буває, що, скажімо, хотівши звоювати сарацинів, зойовують братію во Христі, Бі уже вліз у якусь політичну гру по саміснійку вуха, що й мусив тепер добряче обдумати та обмислити. Зрештою на тоті обдумування-обмислювання мав хіба трохи часу, хіба до наступного ранку. Бо вранці першого жовтня Галина Дем'янівна, законна, заглянула до поштової скриньки та знайшла там листа, на якому не малося ані зворотньої адреси, ані поштової марки, ані відбитку поштового штемпеля, адресованого Сікорському Б.І. Здивовано повертівши тоту okazji в руках, Галина Дем'янівна повернулася в квартиру та попри явні ознаки, що чоловік не спить, але й не працює, не стукаючи та не окликаючи його, мовчки просунула її (okazію ж) у шпарку під дверима, а злегка (хіба злегка) подивований Бі одразу її підібрав та вже й прочитав та був цим ділом добряче таки настраханий, бо в конверті виявилася невеличка, навіть зовсім маленька цидуля, на якій видруковано було усього одне слово, взяте у лапки: “Историк” — та ще дата: “5 октябрю”, — а це означало, що п'ятого жовтня на восьму вечора, нікому не зронивши ні слова ні півслова, він мусив прибути до певної пивниці на вулиці Чигрина та зустрітися там з певною особою, а чи з певними особами.

Ми не відаємо достеменно, хто то був (чи були) за чоловік (чи люди), що він (вони) у такий простий та предивний водночас спосіб перебив (-ли) роздуми Бі щодо перипетій *der grossen Politik*, але, що по тотому таємничому побаченню він зателефонував до пана Проценка, Петра Сидоровича, та зголосився пристати на його пропозицію, те напевне.

XL

Досить легко — збоку, себто з боку Проценка та ще деяких людей, з якими він це діло обговорював, воно могло видатися щонайменше напівжартом — Бі доскочив ідеї передвиборної кампанії, яка полягала у тому, щоб нібито організувати повернення зі Швейцарії нашого Олександера, та — народним коштом; притому що хтось уже підказав йому, щоб (для сміху) нібито пожертви співгромадян нібито приймалися лишень у найдрібнішій монеті. Ідея була хороша, хоч, правда, нікому з його дорадців, ані йому вже й самому не спало на думку переконатися, що Олександр покинув-таки, принаймні, Миколаїв, а що місцева туалетна преса не дала собі клопоту повернутися до Івана передом, то Бі мусив трохи попоїздити та попоганяти радців до нестольного тоді ще Києва та до Львова-Тернополя та у такий круж-

ний спосіб ширше познайомити миколаївців зі своєю особою.

Одного дня (зима вже була, шосте, здається, грудня), зібравшись у чергову ділову мандрівку (серце йому тепер боліло в міру хіба, як не спав за дві ночі або коли якось з дурної голови відправився був до нестолиці літаком, — а так, то й не відчував того м'яза майже зовсім, наче років тридцять тому), БІ вийшов зі свого кабінету, почав надягати вже пальто та взув черевики, коли одчинилися двері та на порозі стала Анжела — донька.

— Ти де була, — спитав її так, начеб вона була з рік, а то більше, швендяла десь з багатим підстаркуватим полюбовником, забувши притому триматися хати, поважати батька-матір та їсти хліб свій у поті чола свого.

— На лекціях, однако, — сказала Анжела, нітрохи не образившись на “предка”. Вона дістала з портфеля при боці якісь книжки та простягнула їх БІ. — Ось, зайшла на хвилину в “Кобзар”. Завідуюча сказала, що знайшла для тебе Книгу Образи й Зневаги, і ще передала тобі нові книжки Кременя, Бойченка, Пучкова і якогось Івана Шмідта, “Фуганкові пісні” називається. Заплатила п'ять рублів.

— Добре, — сказав БІ, прийнявши од доньки книжки та закинувши їх на антресолю, туди, де шойно лежала його шапка-пиріжок. — Дякую, — сказав. — Ось, на тобі, маєш свою п'ятірку, а п'ятірку — за труди. Мені ніколи. Вдома буду восьмого-дев'ятого. Бувай.

Анжела ще цьмокнула свого “предка” у щоку, БІ вийшов у світ, а ся книга на цьому

ЗАКІНЧИЛАСЯ

Поетичні тексти малих епічних форм

Евгений Уманов (Умка)

Три панк-сказки**Посланники**

— Здравствуйте! Веруете ли вы в Бога! Знаете ли что Господь послал Сына Своего нам во спасение. Что бы мы жили вечной жизнью и славили Имя Его!

— А?

— Знаете ли вы, какую благодать готовит каждому из нас Господь Бог?

— Ой, бля...

— Хотите ли вы жить вечно? С вашими родными и близкими.

— Ни в коем разе. С такого бодуна... Ой, бля. Вечно! Вы что сатанисты какие?

— Нет, мы Свидетели Иеговы, проповедуем благодать божью и...

— И сволочи вы! Вчера такой день был тяжелый, столько проблем... решалось... тяжело. Тяжко решалось, понимаете? Понимаете, когда решить надо, а выпить столько невозможно! Понимаете?

— Но этого всего не будет в вечной жизни. Будет покой и радость! И позвольте вам зачитать цитату из Библии...

— Чо, похмелья не будет?

— Конечно, жизнь будет наполнена радостью и счастьем, все звери будут жить в мире с человеком и с друг другом.

— И змеюки? Тоже, в мире со всеми?

— Да, да, все змеи и гады, и твари...

— И соседка? Эта тварь!? Эта змеюка!? Тоже в мире? Вот жеж блин! Аж обидно. А нельзя её как-то исключить из списка?

— Ну, не знаю, наверно нет.

— Не, ну ни хрень! С хорошей, блин, новостью вы меня подняли-то! Ни на этом, ни на том свете от неё покоя не будет.

— Да, но вы только представьте, вы будете жить вечно. Вы ведь хотите жить вечно?

— Нет.

— Э-э-э. Почему, нет?

— Потому что нос.

— Простите, что?

— Нос! Нос у человека растет всю жизнь! До смерти!

— И что?

— Что-что, вы чо тупые? Живу я вечно, через две тысячи лет у меня нос пол метра! Нахер мне жить с таким носом? А это ведь еще не предел!

— Да не переживайте, все будет хорошо с вашим носом, и с другими носами тоже! Жизнь будет прекрасной и гармоничной. Не будет войн, страха, ненависти! Хищники не будут нападать на травоядных.

— А на кого они будут нападать? Может на соседку?

— Нет, они вообще не будут ни на кого нападать!

— А что они есть будут?

— Им не надо будет заботиться о хлебе насущем! Будет общая благодать!

— Не, ну что-то они ведь должны жрать! Или сдохнут! Куда желудок денется у них? Если туда ничего не класть, то он засохнет. И все сдохнут!

— Нет, вы не понимаете...

— Да понял я все. Ходили бы вы отсюда, и людям на похмелье голову не морочили. Мне еще — бороду расчесать, крест почистить, рясу. И на обедню. Пора. Уже все, поди, и заждались.

Ворона Мария Владимировна

Пожалуй, Ворона самое неадекватное (исключая, конечно, сантехника) животное из тех, что могут вас обматюкать. Они летят куда-то не потому, что типо, ой бля тут холодно, летим, где тепло — это не их вариант. Они летят, потому что прет.

Так одна не в меру припоцаная ворона, по кличке Мария Владимировна, залетела в Южную Америку, и села на ветку дерева, свисавшую к самой Амазонке.

— Горе мне, горе, — услышала она под собой, наклонилась и увидела огромного рыдающего аллигатора.

— Эээ, а чо такое, — спросила Мария Владимировны у немеряной рептилии.

— Выдра здесь жила, — отвечал аллигатор, — такая хорошая, правильная выдра, выдрыта у неё были, шесть штук.

Рядом раздался всплеск, и маленький выдренок вынырнув рядом спросил.

— А где мама?

— Семь! Семь! Семь! — практически в истерике затрясся аллигатор. Резким движением схватил пастью выдренка и, не жуя, проглотил. — Такая семья была, дружная, душевная.

— Ага, — понимающе каркнула Мария Владимировна. — А звать-то тебя как?

— Витек, — не прекращая плакать, аллигатор отрыгнул чью-то шерсть, — а я их значит, того, это... с-о-ж-р-а-а-а-л.

— Печально, — закивала головой ворона. — А по убеждениям вы их слопали, Витек?

— Если бы. Тупо жрать хотелось. Вчера вот птичка, такая зелененькая, маленькая на ветке сидела, почти там, где вы. Так я из воды-то подвыпрыгнул, и знаете ли, сожрал её тоже.

— У вас отменный аппетит, — сказала Мария Владимировна и перепрыгнула повыше.

— Дааа, — Витек громко выдохнул, — что есть, то есть. Я бы и рад как-то соскочить, начать вести здоровый образ жизни. Ведь жалко-то окружающих, ой, жалко...

— Ну, с другой стороны, — перебила Мария Владимировна, — закон природы. Как говаривал Ницше, только сильный, только юбераллигатор достоин жить и...

— Ни-и-цше, — Витек захныкал, — ёжик у нас был, тоже про этого всё говорил...

— Ааа, я, кажется, догадываюсь, что с ним случилось, — Мария Владимировна понимающе закивала клювом.

— Да, да! Потом, знаете ли, так внутри все кололось, сам не рад был.

— Витек, слушай меня, — Мария Владимировна перепрыгнула на две ветки ниже, и подмигнула аллигатору. — Витек, это все кирпичники виноваты!

— Кто?

— Да, мasons. Они виноваты. И тех, кого сожрешь, считай мasonом, понял?

Вместо ответа Витек одним движением выпрыгнул из воды, и перекусил потерявшую бдительность Марию Владимировну так, что тушка осталась у него в пасти, а клюв и голова шлепнулись в воду.

— По-о-нял! Понял! Кругом одни мasons! Кругом.

Голова слишком ушлой вороны, мирно покачиваясь на волнах, поплыла к Гольфстриму и — прямым к берегам исторической Родины Марии Владимировны.

Про дубовиков и столбняков

— Я вчера птицу видел, — Куч обратился то ли ко мне, то ли к себе, — зависла на середине реки. Кого-то матюкала. Ага.

— И что? — сказал я, совершенно не понимая, зачем мне та птица посредине реки. — Объясни мне еще раз политику партии, а то я ваши идеи что-то не выкупаю полностью.

— Э-э-э, — протянул Куч и поскреб черное пятнышко на серо-ко-

ричневой штанине, — ну ладно, смотри! Есть дубовики, есть столбняки. Мы на дубу, они на столбе, шош туту не понятного-то?

— Ну, ништяк, — подтвердил я, что и так ясно, как белый день, — дубовики в коричневом, столбняки в сером, а ты чего в серо-коричневом?

— Не-е-е, — серо-коричневый Куч беззвучно смеялся, тряся выпавшим со свитера волосатым животом, — не так. Дубовики в сером, а столбняки в коричневом, а я дубовик в серо-коричневом. Мода, знаешь что такое? А я старый, вот по старой моде и одет. Ага. Так вот, птица зависла посередине Ингула. Не Днепра, а Ингула, причем в узком месте. Парадокс, а?

— Та причем здесь птица? Слышно тут война не за горами, а ты о птице!

— Разборки у нас напостояне, а вот птицу, зависшую, да еще и над Ингулом-то, вчера первый раз видел, — отвечал Куч с ветки и болтал короткими пухлыми ногами. — Так что интересно птица — или грач, или ворона черная, тока откуда у нас вороны черные? Грач наверно...

— А разборки почему? — вставил я.

— Ы-ы-ы, — обиженно ыкнул Куч, но сдался, — давно-о-о, кадась давно-о-о все жили на дубу и все были дубовиками, даже не так, пра-дубовиками. Ага, — в подтверждение Куч замахал кудлатой головой. — Потом появился столб и туда добрая часть переместилась, и начала себя именовать...

— Столбняками?

— Нет. Бо-ольшими дубовиками. Погодя и традиции и одежды и на дубу и на столбе менялись. Ага, — Куч помолчал, затем звонко цыкнул. — А может и ворон был, больше грача, пожалуй. Вороны у нас еще есть.

— А сейчас кто недоволен? Столбняки или дубовики? — гнул я свою линию.

— Все недовольны. Традиции разные, а вроде братья. Живут-то многие столбняки на дубу, на некоторых ветках только они и живут. Так и говорят, что это, мол, хоть и дуб, но ветка столбняковая, у нас тут свои традиции, в коричневом ходить будем. Ну и такое прочее. Ага. А дубовики говорят, что дуб есть дуб. Вообще история старая, мутная.

— А что делать? Сам что думаешь?

— Я-то? Думаю, что все-таки грач был, матюкался как-то звонко очень, вОроны так не матюкаются...

— А про распри что думаешь?

— А тут дело нехитрое, — Куч тыкнул пальцем в небо, — наверху-то света больше! Мало таму дубовиков и столбняков помещается. А вот те-то, кто помещаются — на солнышке греются. Тепленько там, — Куч потянулся и сладко зевнул. — Вот и сле-

дят те, которые там, — Куч снова поднял палец, — чтобы которые здесь — занимались друг другом, а не заглядывались-то наверх. Ага.

— Интересно тут у вас! — с восхищением воскликнул я.

— Да, интересно, — без энтузиазма подтвердил Куч, — а сам-то, откуда будешь?

— С березы.

— С березы? А! — радостно воскликнул Куч и хлопнул ладонью себе по лбу. — Гоголя тот грач матюкал, Гоголя!

Віршована поезія

Оля Сквирская

“Сочится день...”

Сочится день из ранки на запястье.
За струйкой струйка. Холодеют пальцы.
Походные укладывает снасти
Душа в костюме вечного скитальца.

Ей пять минут на сборы. Ровно столько
Живет разрубленная на кусочки память.
Разлуку тело переносит стойко,
Без промедленья превращаясь в камень.

Душа рассеянно мурлычет песню.
Мотив знакомый, но слова не вспомнить.
Поклажа собрана, и сразу стало тесно
Душе-бродяге в опустевшем доме.

К двери шагнула, оглянулась — вечер.
Закатный луч лизнул ковер и стены.
Часы стоят, окончена свечка,
Вязанием на тонких спицах — вены.

Надеюсь, душа, что ты — не бессмертна.
И жизнью других не получишь, а просто исчезнешь.
Ты к солнцу взлетишь, загорись и — пеплом по ветру,
Оставив у глаз неподвижных лишь слабые тени.

Подумай сама: ты частенько от радости пела?
Плясала от счастья, собою бывала довольна?

Тряслась ты от страха, от козней рассудка немела
И изо дня в день, как чумная, рыдала от боли.

Послушай, душа, мне не выдержать перерождений.
Прошу, испарись, улети, на луну навеки.
Не сможешь — в болото вселись или в куст сирени.
Проклятье — опять появиться на свет человеком.

Проводы лета

Под рубашку лезет и шекочет —
Холодок стал дирижером утра.
Теплый летний день изодран в клочья —
Осень начала мурлыкать сутры.

Я себя сегодня провожаю —
Томную, изнеженную зноем,
Чтобы появилась та, другая —
С ливнями и вечным непокоем.

Допиваю чай с малиной свежей.
Как отсрочить мне глоток последний?
Новой становлюсь я или прежней?
Тихий плач из комнаты соседней.

Рецепт забвения

Если поддеть черепную коробку,
Можно вытащить память — убить прошлое.
В этом деле не стоит быть робкой.
И плохое под снос, и хорошее.

Возможно, я стану умственно отсталой,
А хотелось бы отстать и душой, и сердцем.
Боль и вину задушу одеялом,
А разлом на затылке посыплю перцем.

Вот и не буду я больше помнить,
Как радовалась даже первым листьям,
И что все были живы в родимом доме,
А чувства и мысли были чистыми.

Да здравствует место в мозгу пустое!
Смотрю сериалы, играю в «ладушки».
Только запах васильков не дает покоя —
Букетик в серванте остался от бабушки.

День хрустнул, распавшись надвое.
В одной половинке — утро
С кофейно-дождливым снадобъем
И ложечкой перламутра.

В другой половинке — золото
Вечерних твоих ладоней.
По вазочкам — сахар колотый,
Улыбка луны в бидоне.

Дыханья — в обнимку. Заполночь.
Дымок из трубы улиткой.
Целуются наши тапочки,
Укрывшись ночной накидкой.

Перевернутый город

Колесами — по небу, туфлями — по облакам,
Корнями врати в Млечный Путь и созвездие Пса,
Асфальт и брущатку оставить на волю рукам
И жадно смотреть на творящиеся чудеса.

Троллейбусы фыркают, в лужах купая рога,
Собаки луну дегустируют — хватит на всех.
И выросла вновь у калеки с Садовой нога.
Он больше не просит, а чистит на облаке снег.

Исчезли заборы вокруг "дорогих" пустырей,
А с ними — постройки с табличкой "аренда". Ура!
От света зашлись золотые глаза фонарей,
И БАМ залечил на боку своем лестничный шрам.

Улыбки затеплились там, где царила печаль.
На яхту под парусом белым стал город похож...
Осталось немного — и лужи затянет январь.
Чудо исчезнет, как только утихнет дождь.

Артём Куцолабский

Pelirroja

радость моя, живо-треплющаяся по ветру
 плот мой дал течь, залатай, зачерпни по ведру
 ты скажешь: Тема, ну, какая течь может быть в плоту
 перестань нести эту и всякую другую хуету
 pero en tu ausencia, sagina mia, siempre en tu *
 как две утлые шляпки глаза мои спущены в пустоту
 как бревнышки пальцы мои трещат в костре ноября
 если б ты знала, как это быть без тебя
 если б ты знала, как ветер качает-роняет лес
 как крик из надрезанного горла сквозь щели лез
 знала, как тает колокольный звон, когда нет звонаря
 как гаснут окурки, а ночь считает ягнят
 раз-два-три, моя дорогая, медный и лунный окрас
 раз-два-три, моя дорогая, никто не считает нас

* — в твое отсутствие, моя дорогая, в твое отсутствие всегда... (*исп.*)

Pelirroja*

из зернышка появилась,
 робко проклюнувшись,
 опережая мой зов,
 такая же рыжеволосая, как ты,
 иная,
 молодая мама
 и дочка,
 пока рядом,
 но уже готовая
 летать.
 их исчезновение, как и твое,
 грозит мне смертью от тоски,
 смертью
 на коленной чашечке,
 как у страдальца Федерико Лорки.

* — рыжая (о цвете волос) (*исп.*)

ты же знаешь,
чем измеряешь,
чем дорожишь.
взгляд свой вperiшь
в желтый трамвай.
давай, наливай,
да по сотке, да по стопке.
автостопом бредешь,
то ли бредишь.

листья. осень кругом.
слегка под хмельком.
разболтался язык.
что ж ты, братец-то, сник.
вон он — желтый трамвай
номер айн-цвай,
пересек Рубикон.
из затертых окон
умерших лица глядят...
молчат.

жаль жизнь шагами не меряется,
не высчитывается как уравнение.
впрочем с алгеброй отношения
у меня с детства не легче.
в ней всегда околачивается
как минимум двое известных,
как свои пять пальцев,
да еще паспорта прилагаются.
так о чем же жалеть?
так бы и жили они долго и счастливо,
кабы их не прикончили,
и не закопали
под кустом крыжовника
в моем прекрасном саду,
присыпав цветами забвения.

"хорошая девочка из культурной семьи" —
не о тебе ли так сказано?

раньше не верила в правило
a la guerre comme a la guerre*
а теперь записка в твоих руках,
как предъявленный счет.

тебе захочется выбежать,
прислониться к столбу,
тут же отшатнувшись,
подумав: "позорному!"
пошарив в кармане,
найдешь проездной в метро,
какую-то мелочь
и четверть стихотворения.
спустишься, в переходе расставшись с монетами,
мимоходом улыбнешься осунувшемуся
от безрадостной жизни милиционеру
и пока не закроется метрополитен
станешь кататься по кольцевой
как не раз уже делала.
наверху увернешься
от стайки подгулявших парней.
со скоростью пули
скользнешь в незнакомый подъезд,
и упав на ступеньки,
зальешься хохотом.
отдышавшись, наберешь мамин номер
сказать, что не вернешься сегодня домой.

* — на войне как на войне (фр.)

Дина Ткаченко
(Дебют)

Странный разговор

Жёлтая тема

От жёлтой темы скоро будет тошно
Ну осень, ну дожди. И что?
Стреляться и молиться от тоски,
Сжав слов поток в тяжёлые тиски?

Рвут кожу вздувшиеся вены
Манит верёвка лаской неземной.
Вы не последний, но Вы и не первый...
Почти поэт наказанный судьбой.

Уговорить бы пулю не родиться
Не нарушать невинности виска.
Чтобы смогли Вы в дребезги напиться
В честь нерождённого свинцового тельца.

Но вот беда — Земля не принимает прах.
И не дано крови переродиться.
Вина не будет. Будет яд на плахе.
Куда же вы бежите в страхе?

Не хлеб я вам несу, но плоть и кровь.

В пустом театре странный разговор

Навеемо Г.Л. Олди
«Нопэрапон или по образу и подобию»

На подмостках старого театра Но*
Под гул шагов и топот барабана
Рассыпался спектакль на жесты и слова
И задохнулась флейта, опоздав на два удара

Пустой театр. Занавес завял
 На старой груше мечется фонарик
 Актёр и маска — демона подарок
 Зеркальной глади перламутровый опал

Что отражаешь ты, нелепоё творенье
 Проклятие или цветок таланта?
 Ты слепок глаз из зрительного зала
 Или моя игра? Хохочет отраженье...

Убить тебя! Как струпя оторвать
 От раны гнойной! Но не знаю как
 Ты проросла во мне корнями.
 Ублю тебя — не жить мне, не играть...

Хохочет Тэнгу** на кривой сосне
 Осколки маски. Веера обломки.
 Лицо актёра. Занавес. Финал.

* — Театр Но — один из старейших японских драматических театров. Маска в театре Но играет важную роль, создавая особую прелесть игры, основанной на выразительности и одухотворенности жеста при неподвижности лица.

** — Тэнгу (буквально «Небесная собака») — существо из японской мифологии. В японской мифологии тэнгу тератологическое существо; представляется в облике мужчины огромного роста с красным лицом, длинным носом, иногда с крыльями. Тэнгу очень часто носит одежду горного отшельника (ямабуси), он наделён огромной силой.

Лазанья

Так хочется, мой милый, рассказать тебе
 Как в сказочной несбывшейся стране
 Поют свирели о прозрачной грусти
 И звезды, с тихим, сумрачным «прости»
 С твоей ладони улетают в утро...
 Ты скажешь «Бред», ты скажешь «небыль»
 Небрежным жестом со стекла сотрёшь дыханье...
 «Ты не гони» — мне скажешь, — «на обед
 Ты лучше приготовь лазанью...»

Карты врут

Карты врут. Бессовестно и нежно
Обещая мне твою любовь...
Руны врут. Врут птицы, несомненно
Путь судьбы прочерчивая. Врут.
Все гаданья и пророчества беспутны,
Если глаз твоих незримая тоска
Не по мне. Не для меня. Не мне...

Марина Ковальчук

“...по душу в листі...”

якби ти був
бомжем
а я — квіткою
ми могли б
зустрічатися
принаймні
раз на рік
на смітнику
після 8 березня

У келихи розлито осінь.
Дощі від сміху показалися.
Жоржини сонця вже не просять,
Та й сонце їм лише наснилось.

Грозою вишите каміння...
Приклеєний нещирий смайлик...
Гілки дерев до третіх півнів
Молитись вітру перестали.

Бредеш один — по душу в листі,
Тестуєш спогади на дотик.
Напіврозбите серце міста
Не запитає навіть: «Хто ти?»

І що несеш в очах зелених?
Кому жалієшся на вроду?
Твоя любов насінням клена
Нечутно падає у воду...

виключою
очі

усім воронам

щоб не зурочили
тебе
дорогою
до мого дому

усе життя
блукаєш
темними коридорами

а нарешті побачивши
світло
розумієш

це лампадка
на твоїй
могилі

females

Ми течем як вода і стрибаємо в пашу неба,
І зализуєм псам лишайним колючі рани,
Забуваєм ввімкнути світло, відкрити крани,
Забуваємо одягнутись — неначе так треба.

По життю ми самотні, хоч з виду — свята полігамність.
Граєм ролі, в футбол, на барабанах і нервах,
Підфарбовуєм вії і пишем на лобі “стерва”,
І відвідуєм фітнес-групу й гурток орігамі.

Миєм посуд, у міру потреби — готуємо їсти,
Розтинаємо серце навпіл — коханому й дітям,
Насилаємо рибні консерви і тепле лахміття
В ту далеку країну, де б'ються за мир паціфісти.

Напускаєм у ванну води, а в очі — туману.
Всі самиці мають право на самозречення.
Ми не ставимо крапок (життя — то велике речення)
І відрошуєм кігті для того, щоб пестити шрами.

Ти навчилась втрачати,
 навіть тих, хто зникає навіки, —
 В передсмертя світанку
 відходять непевні сліди.
 Ти й сама залишилась
 порожня, беззуба, безлика...
 Ще б хоч промінь впіймати,
 і можна уже — туди.

Кажуть, щастя — воно не варте
 всіх тих, хто поряд.
 Та й для чого потрібне те щастя,
 коли ти сама?!
 І кому прочитати казку,
 і хто перехопить погляд,
 Якщо внуки твої — два коти,
 а донька — зима?..

Є один лиш маршрут —
 тролейбус, що йде в нікуди,
 І автобус, що був вінчальним,
 а став з вінками.
 Яюсь дивно — в квартирі твоїй
 позбиралися люди.
 Яюсь дивно — приносять квітки,
 а весна не настане...

м. Луцьк

“Літера Н.” № 5(29) — 2009

**Миколаївський
 міський журнал поезії**

litera-n.nikportal.net

litera-n.mk.ua

Редакція, видавці:
 Михалко Скаліцкі
 Євген Проворний
 Євген Цимбалюк

Верстка М. Скаліцкі

Тексти можна надсилати
 на адресу:
 54017 Миколаїв-17,
 вул. Громадянська, 109/1,
 Цимбалюкові Є.
 або е-поштою
 mskal@yandex.ru
 provorny@ukr.net

Видання некомерційне
 Зареєстроване 20.12.2004
 обласним управлінням
 у справах преси та інформації
 Миколаївської ОДА
 Реєстраційний номер: МК 450

Виходить
 один раз на два місяці

Віддруковано на ризографі
 ТОВ “Ортен”:
 м. Миколаїв,
 п-кт Миру, 5
 тел. (0512) 21-86-81

Схвалено до друку 27.01.2010

Наклад:
 80 примірників